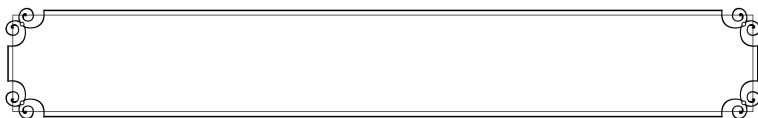


.....
————

Поединок

————
.....



I

Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее поглядывали на часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли вразброс: около тополей, окаймлявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. Все это были воображаемые посты, как, например, пост у порохового погреба, у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между ними ходили разводящие и ставили часовых; производилась смена караулов; унтер-офицеры проверяли посты и испытывали познания своих солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места, то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, большею частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знавшие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях преувеличенно суровым тоном: «Отходи! Не имею полного права никому отдавать ружье, кроме как получить приказание от самого государя императора». Но молодые путались. Они еще не умели отделить шутки, примера от настоящих требований службы и впадали то в одну, то в другую крайность.

— Хлебников! Дьявол косорукий! — кричал маленький, круглый и шустрый ефрейтор Шаповаленко, и в голосе его слышалось начальственное страдание. — Я ж тебя учил-учил, дурня! Ты же чье сейчас приказанье исполнил? Арестованного? А, чтоб тебя!.. Отвечай, для чего ты поставлен на пост!

В третьем взводе произошло серьезное замешательство. Молодой солдат Мухамеджинов, татарин, едва понимавший и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего начальства — и настоящего и воображаемого. Он вдруг

расширепел, взял ружье на руку и на все убеждения и приказанья отвечал одним решительным словом:

— З-заколу!

— Да постой... да дурак ты... — уговаривал его унтер-офицер Бобылев. — Ведь я кто? Я же твой караульный начальник, стало быть...

— Заколу! — кричал татарин испуганно и злобно и с глазами, налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался. Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздыху в надоевшем ученье.

Ротный командир, капитан Слива, пошел разбирать дело. Пока он плелся вялой походкой, сторбившись и волоча ноги, на другой конец плаца, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое: поручик Веткин — лысый, усатый человек лет тридцати трех, весельчак, говорун, певун и пьяница, подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами и с вечной улыбкой на толстых наивных губах, — весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами.

— Свинство, — сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые часы и сердито щелкнув крышкой. — Какого черта он держит до сих пор роту? Эфиоп!

— А вы бы ему это объяснили, Павел Павлыч, — посоветовал с хитрым лицом Лбов.

— Черта с два. Подите, объясняйте сами. Главное — что? Главное — ведь это все напрасно. Всегда они перед смотрами горячку порют. И всегда переборщат. Задержают солдата, замучат, затуркают, а на смотру он будет стоять, как пень. Знаете известный случай, как два ротных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба? Выбрали они оба жесточайших обжор. Пари было большое — что-то около ста рублей. Вот один солдат съел семь фунтов и отвалился, больше не может. Ротный сейчас на фельдфебеля: «Ты что же, такой, раззаткий, подвел меня?» А фельдфебель только глазами лупает: «Так что не могу знать, вашескородие, что с ним случилось. Утром делали репетицию — восемь фунтов стрескал в один присест...» Так вот и наши... Репетят без толку, а на смотру сядут в калошу.

— Вчера... — Лбов вдруг прыснул от смеха. — Вчера, уж во всех ротах кончили занятия, я иду на квартиру, часов уже восемь, пожалуй, темно совсем. Смотрю, в одиннадцатой роте сигналы учат. Хором. «На-ве-ди, до гру-ди, по-па-ди!» Я спрашиваю поручика Андрусевича: «Почему это у вас до сих пор идет такая музыка?» А он говорит: «Это мы, вроде собак, на луну воем».

— Все надоело, Кука! — сказал Веткин и зевнул. — Пойдите-ка, кто это едет верхом? Кажется, Бек?

— Да. Бек-Агамалов, — решил зоркий Лбов. — Как красиво сидит.

— Очень красиво, — согласился Ромашов. — По-моему, он лучше всякого кавалериста ездит. О-о-о! Заплясала. Кокетничает Бек.

По шоссе медленно ехал верхом офицер в белых перчатках и в адъютантском мундире. Под ним была высокая длинная лошадь золотистой масти с коротким, по-английски, хвостом. Она горячилась, нетерпеливо мотала крутой, собранной мундштуком шеей и часто перебирала тонкими ногами.

— Павел Павлыч, это правда, что он природный черкес? — спросил Ромашов у Веткина.

— Я думаю, правда. Иногда действительно армяшки выдают себя за черкесов и за лезгин, но Бек вообще, кажется, не врет. Да вы посмотрите, каков он на лошади!

— Подожди, я ему крикну, — сказал Лбов.

Он приложил руки ко рту и закричал сдавленным голосом, так, чтобы не слышал ротный командир:

— Поручик Агамалов! Бек!

Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся вправо. Потом, повернув лошадь в эту сторону и слегка согнувшись в седле, он заставил ее упругим движением перепрыгнуть через канаву и сдержанным галопом поскакал к офицерам.

Он был меньше среднего роста, сухой, жилистый, очень сильный. Лицо его, с покатым назад лбом, тонким горбатым носом и решительными, крепкими губами, было мужественно и красиво и еще до сих пор не утратило характерной восточной бледности — одновременно смуглой и матовой.

— Здравствуй, Бек, — сказал Веткин. — Ты перед кем там выфинчивал? Дэвыщы?

Бек-Агамалов пожимал руки офицерам, низко и небрежно склоняясь с седла. Он улыбнулся, и казалось, что его белые стиснутые зубы бросили отраженный свет на весь низ его лица и на маленькие черные, холеные усы...

— Ходили там две хорошенькие жидовочки. Да мне что? Я нуль внимания.

— Знаем мы, как вы плохо в шашки играете! — мотнул головой Веткин.

— Послушайте, господа, — заговорил Лбов и опять заранее засмеялся. — Вы знаете, что сказал генерал Дохтуров о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бек, относится. Что они самые отчаянные наездники во всем мире...

— Не ври, фендрик! — сказал Бек-Агамалов.

Он толкнул лошадь шенкелями и сделал вид, что хочет наехать на подпрапорщика.

— Ей-богу же! У всех у них, говорит, не лошади, а какие-то гитары, шкáпы — с запалом, хромые, кривоглазые, опоенные. А дашь ему приказание — знай себе жарит, куда попало, во весь карьер. Забор — так забор, овраг — так овраг. Через кусты валяет. Поводья упустил, стремяна растерял, шапка к черту! Лихие ездоки!

— Что слышно нового, Бек? — спросил Веткин.

— Что нового? Ничего нового. Сейчас, вот только что, застал полковой командир в собрании подполковника Леха. Разорался на него так, что на соборной площади было слышно. А Лех пьян, как змий, не может папу-маму выговорить. Стоит на месте и качается, руки за спину заложил. А Шульгович как рывкнет на него: «Когда разговариваете с полковым командиром, извольте руки на заднице не держать!» И прислуга здесь же была.

— Крепко завинчено! — сказал Веткин с усмешкой — не то иронической, не то поощрительной. — В четвертой роте он вчера, говорят, кричал: «Что вы мне устав в нос тычете? Я — для вас устав, и никаких больше разговоров! Я здесь царь и бог!»

Лбов вдруг опять засмеялся своим мыслям.

— А вот еще, господа, был случай с адъютантом в N-ском полку...

— Заткнитесь, Лбов, — серьезно заметил ему Веткин. — Эко вас прорвало сегодня.

— Есть и еще новость, — продолжал Бек-Агамалов. Он снова повернул лошадь передом ко Лбову и, шутя, стал наезжать на него. Лошадь мотала головой и фыркала, разбрасывая вокруг себя пену. — Есть и еще новость. Командир во всех ротах требует от офицеров рубку чучел. В девятой роте такого холоду нагнал, что ужас. Епифанова закатал под арест за то, что шашка оказалась не отточена... Чего ты трусишь, фендрик! — крикнул вдруг Бек-Агамалов на подпрапорщика. — Привыкай. Сам ведь будешь когда-нибудь адъютантом. Будешь сидеть на лошади, как жареный воробей на блюде.

— Ну ты, азиат!.. Убирайся со своим одром дохлым, — отмахивался Лбов от лошадиной морды. — Ты слышал, Бек, как в N-ском полку один адъютант купил лошадь из цирка? Выехал на ней на смотр, а она вдруг перед самым командующим войсками начала испанским шагом парадировать. Знаешь, так: ноги вверх и этак с боку на бок. Врезался наконец в головную роту — суматоха, крик, безобразие. А лошадь — никакого внимания, знай себе испанским шагом разделяет. Так Драгомиров сделал рупор — вот так вот — и кричит: «Поручи-ик, тем же аллюром на гауптвахту, на двадцать один день, ма-арш!..»

— Э, пустяки, — сморщился Веткин. — Слушай, Бек, ты нам с этой рубкой действительно сюрприз преподнес. Это значит что же? Совсем свободного времени не останется? Вот и нам вчера эту уроду принесли.

Он показал на середину плаца, где стояло сделанное из сырой глины чучело, представлявшее некоторое подобие человеческой фигуры, только без рук и без ног.

— Что же вы? Рубили? — спросил с любопытством Бек-Агамалов. — Ромашов, вы не пробовали?

— Нет еще.

— Тоже! Стану я ерундой заниматься, — заворчал Веткин. — Когда это у меня время, чтобы рубить? С девяти утра до шести вечера только и знаешь, что торчишь здесь. Едва успеешь пожрать и водки выпить. Я им, слава Богу, не мальчик дался...

— Чудак. Да ведь надо же офицеру уметь владеть шашкой.

— Зачем это, спрашивается? На войне? При теперешнем огнестрельном оружии тебя и на сто шагов не подпустят. На кой мне черт твоя шашка? Я не кавалерист. А понадобится, я уж лучше возьму ружье да прикладом — бац-бац по башкам. Это вернее.

— Ну, хорошо, а в мирное время? Мало ли сколько может быть случаев. Бунт, возмущение там или что...

— Так что же? При чем же здесь опять-таки шашка? Не буду же я заниматься черной работой, сечь людям головы. Ро-ота, пли! — и дело в шляпе...

Бек-Агамалов сделал недовольное лицо.

— Э, ты все глупишь, Павел Павлыч. Нет, ты отвечай серьезно. Вот идешь ты где-нибудь на гулянье или в театре, или, положим, тебя в ресторане оскорбил какой-нибудь шпак... возьмем крайность — даст тебе какой-нибудь штатский пощечину. Ты что же будешь делать?

Веткин поднял кверху плечи и презрительно поджал губы.

— Н-ну! Во-первых, меня никакой шпак не ударит, потому что бьют только того, кто боится, что его побьют. А во-вторых... ну что же я сделаю? Башну в него из револьвера.

— А если револьвер дома остался? — спросил Лбов.

— Ну, черт... ну, съезжу за ним... Вот глупости. Был же случай, что оскорбили одного корнета в кафешантане. И он съездил домой на извозчике, привез револьвер и ухлопал двух каких-то рябчиков. И все!..

Бек-Агамалов с досадой покачал головой.

— Знаю. Слышал. Однако суд признал, что он действовал с заранее обдуманном намерением, и приговорил его. Что же тут хорошего? Нет, уж я, если бы меня кто оскорбил или ударил...

Он не договорил, но так крепко сжал в кулак свою маленькую руку, державшую поводья, что она задрожала. Лбов вдруг затрясся от смеха и прыснул.

— Опять! — строго заметил Веткин.

— Господа... пожалуйста... Ха-ха-ха! В М-ском полку был случай. Подпрапорщик Краузе в Благородном собрании сделал скандал. Тогда буфетчик схватил его за погон и почти оторвал. Тогда Краузе вынул револьвер — рраз ему в голову! На месте! Тут ему еще какой-то адвокатишка подвернулся, он и его бах! Ну, понятно, все разбежались. А тогда Краузе спо-

койно пошел себе в лагерь, на переднюю линейку, к знамени. Часовой окрикивает: «Кто идет?» — «Подпрапорщик Краузе, умереть под знаменем!» Лег и прострелил себе руку. Потом суд его оправдал.

— Молодчина! — сказал Бек-Агамалов.

Начался обычный, любимый молодыми офицерами разговор о случаях неожиданных кровавых расправ на месте и о том, как эти случаи проходили почти всегда безнаказанно. В одном маленьком городишке безусый пьяный корнет врубился с шашкой в толпу евреев, у которых он предварительно «разнес пасхальную кучку». В Киеве пехотный подпоручик зарубил в танцевальном зале студента насмерть за то, что тот толкнул его локтем у буфета. В каком-то большом городе — не то в Москве, не то в Петербурге — офицер застрелил, «как собаку», штатского, который в ресторане сделал ему замечание, что порядочные люди к незнакомым дамам не пристают.

Ромашов, который до сих пор молчал, вдруг, краснея от замешательства, без надобности поправляя очки и откашливаясь, вмешался в разговор:

— А вот, господа, что я скажу с своей стороны. Буфетчика я, положим, не считаю... да... Но если штатский... как бы это сказать?... Да... Ну, если он порядочный человек, дворянин и так далее... зачем же я буду на него, безоружного, нападать с шашкой? Отчего же я не могу у него потребовать удовлетворения? Все-таки же мы люди культурные, так сказать...

— Э, чепуху вы говорите, Ромашов, — перебил его Веткин. — Вы потребуете удовлетворения, а он скажет: «Нет... э-э-э... я, знаете ли, вээбще... э-э... не признаю дуэли. Я противник кровопролития... И кроме того, э-э... у нас есть мировой судья...» Вот и ходите тогда всю жизнь с битой мордой.

Бек-Агамалов широко улыбнулся своей сияющей улыбкой.

— Что? Ага! Соглашаешься со мной? Я тебе, Веткин, говорю: учись рубке. У нас на Кавказе все с детства учатся. На прутьях, на бараньих тушах, на воде...

— А на людях? — вставил Лбов.

— И на людях, — спокойно ответил Бек-Агамалов. — Да еще как рубят! Одним ударом рассекают человека от плеча к бедру, наискось. Вот это удар! А то что и мараться.

— А ты, Бек, можешь так?

Бек-Агамалов вздохнул с сожалением:

— Нет, не могу... Барашка молодого пополам пересеку... пробовал даже телячью тушу... а человека, пожалуй, нет... не разрублю. Голову снесу к черту, это я знаю, а так, чтобы наискось... нет. Мой отец это делал легко...

— А ну-ка, господа, пойдёмте попробуем, — сказал Лбов молящим тоном, с загоревшимися глазами. — Бек, милочка, пожалуйста, пойдём...

Офицеры подошли к глиняному чучелу. Первым рубил Веткин. Придав озверелое выражение своему доброму, простоватому лицу, он изо всей силы, с большим, неловким размахом, ударил по глине. В то же время он невольно издал горлом тот характерный звук — хрясь! — который делают мясники, когда рубят говядину. Лезвие вошло в глину на четверть аршина, и Веткин с трудом вывязил его оттуда!

— Плохо! — заметил, покачав головой, Бек-Агамалов. — Вы, Ромашов...

Ромашов вытащил шашку из ножен и сконфуженно поправил рукой очки. Он был среднего роста, худошав, и хотя довольно силен для своего сложения, но от большой застенчивости неловок. Фехтовать на эспадронах он не умел даже в училище, а за полтора года службы и совсем забыл это искусство. Занеся высоко над головой оружие, он в то же время инстинктивно выставил вперед левую руку.

— Руку! — крикнул Бек-Агамалов.

Но было уже поздно. Конец шашки только лишь слегка черкнул по глине. Ожидавший большего сопротивления, Ромашов потерял равновесие и пошатнулся. Лезвие шашки, ударившись об его вытянутую вперед руку, сорвало лоскуток кожи у основания указательного пальца. Брызнула кровь.

— Эх! Вот видите, — воскликнул сердито Бек-Агамалов, слезая с лошади. — Так и руку недолго отрубить. Разве же можно так обращаться с оружием! Да ничего, пустяки, завяжите платком потуже. Институтка. Подержи коня, фендрик. Вот, смотрите. Главная суть удара не в плече и не в локте, а вот здесь, в сгибе кисти. — Он сделал несколько быстрых кругообразных движений кистью правой руки, и клинок шашки превратился над его головой в один сплошной сверкающий круг. — Теперь смотрите: левую руку я убираю назад, за спину. Когда вы наносите удар, то не бейте и не рубите предмет, а режьте его, как бы пилите, отдергивайте шашку назад... Понимаете? И притом

помните твердо: плоскость шашки должна быть непременно наклонна к плоскости удара, непременно. От этого угол становится острее. Вот, смотрите.

Бек-Агамалов отошел на два шага от глиняного болвана, впился в него острым, прицеливающимся взглядом и вдруг, блеснув шашкой высоко в воздухе, страшным, неуловимым для глаз движением, весь упав наперед, нанес быстрый удар. Ромашов слышал только, как пронзительно свистнул разрезанный воздух, и тотчас же верхняя половина чучела мягко и тяжело шлепнулась на землю. Плоскость отреза была гладка, точно отполированная.

— Ах, черт! Вот это удар! — воскликнул восхищенный Лбов. — Бек, голубчик, пожалуйста, еще раз.

— А ну-ка, Бек, еще, — попросил Веткин.

Но Бек-Агамалов, точно боясь испортить произведенный эффект, улыбаясь, вкладывал шашку в ножны. Он тяжело дышал, и весь он в эту минуту, с широко раскрытыми злобными глазами, с горбатым носом и с оскаленными зубами, был похож на какую-то хищную, злую и гордую птицу.

— Это что? Это разве рубка? — говорил он с напускным пренебрежением. — Моему отцу, на Кавказе, было шестьдесят лет, а он лошади перерубал шею. Пополам! Надо, дети мои, постоянно упражняться. У нас вот как делают: поставят ивовый прут в тиски и рубят, или воду пустят сверху тоненькой струйкой и рубят. Если нет брызгов, значит, удар был верный. Ну, Лбов, теперь ты.

К Веткину подбежал с испуганным видом унтер-офицер Бобылев.

— Ваше благородие... Командир полка едут!

— Сми-ирррна! — закричал протяжно, строго и возбужденно капитан Слива с другого конца площади.

Офицеры торопливо разошлись по своим взводам.

Большая неуклюжая коляска медленно съехала с шоссе на плац и остановилась. Из нее с одной стороны тяжело вылез, наклонив весь кузов набок, полковой командир, а с другой легко соскочил на землю полковой адъютант, поручик Федоровский — высокий, щеголеватый офицер.

— Здорово, шестая! — послышался густой, спокойный голос полковника.

Солдаты громко и нестройно закричали с разных углов плаца:

— Здравия желаем, ваш-о-о-о!

Офицеры приложили руки к козырькам фуражек.

— Прошу продолжать занятия, — сказал командир полка и подошел к ближайшему взводу.

Полковник Шульгович был сильно не в духе. Он обходил взводы, предлагал солдатам вопросы из гарнизонной службы и время от времени ругался матерными словами с той особенной молодеческой виртуозностью, которая в этих случаях присуща старым фронтовым служакам. Солдат точно гипнотизировал пристальный, упорный взгляд его старчески бледных, выцветших, строгих глаз, и они смотрели на него, не моргая, едва дыша, вытягиваясь в ужасе всем телом. Полковник был огромный, тучный, осанистый старик. Его мясистое лицо, очень широкое в скулах, суживалось вверх, ко лбу, а внизу переходило в густую серебряную бороду заступом и таким образом имело форму большого, тяжелого ромба. Брови были седые, лохматые, грозные. Говорил он почти не повышая тона, но каждый звук его необыкновенного, знаменитого в дивизии голоса — голоса, которым он, кстати сказать, сделал всю свою служебную карьеру, — был ясно слышен в самых дальних местах обширного плаца и даже по шоссе.

— Ты кто такой? — отрывисто спросил полковник, внезапно остановившись перед молодым солдатом Шарафутдиновым, стоявшим у гимнастического забора.

— Рядовой шестой роты Шарафутдинов, ваша высокоблагородия! — старательно, хрипло крикнул татарин.

— Дурак! Я тебя спрашиваю, на какой пост ты наряжен?

Солдат, растерявшись от окрика и сердитого командирского вида, молчал и только моргал веками.

— Н-ну? — возвысил голос Шульгович.

— Который лицо часовой... неприкосновенно... — залепетал наобум татарин. — Не могу знать, ваша высокоблагородия, — закончил он вдруг тихо и решительно.

Полное лицо командира покраснело густым кирпичным старческим румянцем, а его кустистые брови гневно сдвинулись. Он обернулся вокруг себя и резко спросил:

— Кто здесь младший офицер?

Ромашов выдвинулся вперед и приложил руку к фуражке.

— Я, господин полковник.

— А-а! Подпоручик Ромашов. Хорошо вы, должно быть, занимаетесь с людьми. Колени вместе! — гаркнул Шульгович, выкатывая глаза. — Как стоите в присутствии своего полкового командира? Капитан Слива, ставлю вам на вид, что ваш субалтерн-офицер не умеет себя держать перед начальством при исполнении служебных обязанностей... Ты, собачья душа, — повернулся Шульгович к Шарафутдинову, — кто у тебя полковой командир?

— Не могу знать, — ответил с унынием, но поспешно и твердо татарин.

— У!... Я тебя спрашиваю, кто твой командир полка? Кто — я? Понимаешь, я, я, я, я, я, я!.. — И Шульгович несколько раз изо всей силы ударил себя ладонью по груди.

— Не могу знать...

— —... — выругался полковник длинной, в двадцать слов, запутанной и циничной фразой. — Капитан Слива, извольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с полной выкладкой. Пусть сгниет, каналья, под ружьем. Вы, подпоручик, больше о бабьих хвостах думаете, чем о службе-с. Вальсы танцуете? Поль де Коков читаете?.. Что же это — солдат, по-вашему? — ткнул он пальцем в губы Шарафутдинову. — Это — срам, позор, омерзение, а не солдат. Фамилию своего полкового командира не знает... У-д-дивляюсь вам, подпоручик!..

Ромашов глядел в седое, красное, раздраженное лицо и чувствовал, как у него от обиды и от волнения колотится сердце и темнеет перед глазами... И вдруг, почти неожиданно для самого себя, он сказал глухо:

— Это — татарин, господин полковник. Он ничего не понимает по-русски, и кроме того...

У Шульговича мгновенно побледнело лицо, запрыгали дряблые щеки и глаза сделались совсем пустыми и страшными.

— Что?! — заревел он таким неестественно оглушительным голосом, что еврейские мальчишки, сидевшие около шоссе на заборе, посыпались, как воробьи, в разные стороны. — Что? Разговаривать? Ма-ал-чать! Молокосос, прапорщик позволяет себе... Поручик Федоровский, объявите в сегодняшнем приказе о том, что я подвергаю подпоручика Ромашова домашнему

аресту на четверо суток за непонимание воинской дисциплины. А капитану Сливе объявляю строгий выговор за то, что не умеет внушить своим младшим офицерам настоящих понятий о служебном долге.

Адъютант с почтительным и бесстрастным видом отдал честь. Слива, сгорбившись, стоял с деревянным, ничего не выражающим лицом и все время держал трясушуюся руку у козырька фуражки.

— Стыдно вам-с, капитан Слива-с, — ворчал Шульгович, постепенно успокаиваясь. — Один из лучших офицеров в полку, старый служака — и так распускаете молодежь. Подтягивайте их, жучьте их без стеснения. Нечего с ними стесняться. Не барышни, не размокнут...

Он круто повернулся и, в сопровождении адъютанта, пошел к коляске. И пока он садился, пока коляска повернула на шоссе и скрылась за зданием ротной школы, на плацу стояла робкая, недоумелая тишина.

— Эх, ба-тень-ка! — с презрением, сухо и недружелюбно сказал Слива несколько минут спустя, когда офицеры расходились по домам. — Дернуло вас разговаривать. Стояли бы и молчали, если уж Бог убил. Теперь вот мне из-за вас в приказе выговор. И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны вы мне, как собаке пятая нога. Вам бы сиську сосать, а не...

Он не договорил, устало махнул рукой и, повернувшись спиной к молодому офицеру, весь сгорбившись, опустившись, поплелся домой, в свою грязную, старческую холостую квартиру. Ромашов поглядел ему вслед, на его унылую, узкую и длинную спину, и вдруг почувствовал, что в его сердце, сквозь горечь недавней обиды и публичного позора, шевелится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем не любимому человеку, у которого во всем мире остались только две привязанности: строевая красота своей роты и тихое, уединенное ежедневное пьянство по вечерам — «до подушки», как выражались в полку старые запойные бурбоны.

И так как у Ромашова была немножко смешная, наивная привычка, часто свойственная очень молодым людям, думать о самом себе в третьем лице, словами шаблонных романов, то и теперь он произнес внутренне:

«Его добрые, выразительные глаза подернулись облаком грусти...»

II

Солдаты разошлись повзводно на квартиры. Плац опустел. Ромашов некоторое время стоял в нерешимости на шоссе. Уже не в первый раз за полтора года своей офицерской службы испытывал он это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей, — это тоскливое чувство незнания, куда девать сегодняшний вечер. Мысли о своей квартире, об офицерском собрании были ему противны. В собрании теперь пустота; наверно, два подпрапорщика играют на скверном, маленьком бильярде, пьют пиво, курят и над каждым шаром ожесточенно божатся и сквернословят; в комнатах стоит застарелый запах плохого кухмистерского обеда — скучно!..

«Пойду на вокзал, — сказал сам себе Ромашов. — Все равно».

В бедном еврейском местечке не было ни одного ресторана. Клубы, как военный, так и гражданский, находились в самом жалком, запущенном виде, и поэтому вокзал служил единственным местом, куда обыватели ездили частенько покурить и встряхнуться и даже поиграть в карты. Ездили туда и дамы к приходу пассажирских поездов, что служило маленьким разнообразием в глубокой скуке провинциальной жизни.

Ромашов любил ходить на вокзал по вечерам, к курьерскому поезду, который останавливался здесь в последний раз перед прусской границей. Со странным очарованием, взволнованно следил он, как к станции, стремительно выскочив из-за поворота, подлетал на всех парах этот поезд, состоявший всего из пяти новеньких, блестящих вагонов, как быстро росли и разгорались его огненные глаза, бросавшие вперед себя на рельсы светлые пятна, и как он, уже готовый проскочить станцию, мгновенно, с шипением и грохотом, останавливался — «точно великан, ухватившийся с разбега за скалу», — думал Ромашов. Из вагонов, сияющих насквозь веселыми праздничными огнями, выходили красивые, нарядные и выхоленные дамы в удивительных шляпах, в необыкновенно изящных костюмах, выходили штатские господа, прекрасно одетые, беззаботно самоуверенные, с громкими барскими голосами, с французским и немецким языком, с свободными жестами, с ленивым смехом. Никто из них ни-

когда, даже мельком, не обращал внимания на Ромашова, но он видел в них кусочек какого-то недоступного, изысканного, великолепного мира, где жизнь — вечный праздник и торжество...

Проходило восемь минут. Звенел звонок, свистел паровоз, и сияющий поезд отходил от станции. Торопливо тушились огни на перроне и в буфете. Сразу наступали темные будни. И Ромашов всегда подолгу с тихой, мечтательной грустью следил за красным фонариком, который плавно раскачивался сзади последнего вагона, уходя во мрак ночи и становясь едва заметной искоркой.

«Пойду на вокзал», — подумал Ромашов. Но тотчас же он поглядел на свои калоши и покраснел от колючего стыда. Это были тяжелые резиновые калоши в полторы четверти глубиной, облепленные доверху густой, как тесто, черной грязью. Такие калоши носили все офицеры в полку. Потом он посмотрел на свою шинель, обрезанную, тоже ради грязи, по колени, с висящей внизу бахромой, с засаленными и растянутыми петлями, и вздохнул. На прошлой неделе, когда он проходил по платформе мимо того же курьерского поезда, он заметил высокую, стройную, очень красивую даму в черном платье, стоявшую в дверях вагона первого класса. Она была без шляпы, и Ромашов быстро, но отчетливо успел разглядеть ее тонкий, правильный нос, прелестные маленькие и полные губы и блестящие черные волнистые волосы, которые от прямого пробора посредине головы спускались вниз к щекам, закрывая виски, концы бровей и уши. Сзади нее, выглядывая из-за ее плеча, стоял рослый молодой человек в светлой паре, с надменным лицом и с усами вверх, как у императора Вильгельма, даже похожий несколько на Вильгельма. Дама тоже посмотрела на Ромашова, и, как ему показалось, посмотрела пристально, со вниманием, и, проходя мимо нее, подпоручик подумал, по своему обыкновению: «Глаза прекрасной незнакомки с удовольствием остановились на стройной, худощавой фигуре молодого офицера». Но когда, пройдя десять шагов, Ромашов внезапно обернулся назад, чтобы еще раз встретить взгляд красивой дамы, он увидел, что и она и ее спутник с увлечением смеются, глядя ему вслед. Тогда Ромашов вдруг с поразительной ясностью и как будто со стороны представил себе самого себя, свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою обычную растерянность

и неловкость, вспомнил свою только что сейчас подуманную красивую фразу и покраснел мучительно, до острой боли, от нестерпимого стыда. И даже теперь, идя один в полутьме весеннего вечера, он опять еще раз покраснел от стыда за этот прошлый стыд.

— Нет, куда уж на вокзал, — прошептал с горькой безнадежностью Ромашов. — Похожу немного, а потом домой...

Было начало апреля. Сумерки сгущались незаметно для глаза. Тополи, окаймлявшие шоссе, белые, низкие домики с черепичными крышами по сторонам дороги, фигуры редких прохожих — все почернело, утратило цвета и перспективу; все предметы обратились в черные плоские силуэты, но очертания их с прелестной четкостью стояли в смуглом воздухе. На западе за городом горела заря. Точно в жерло раскаленного, пылающего жидким золотом вулкана сваливались тяжелые сизые облака и рдели кроваво-красными, и янтарными, и фиолетовыми огнями. А над вулканом поднималось куполом вверх, зеленея бирюзой и аквамарином, кроткое вечернее весеннее небо.

Медленно идя по шоссе, с трудом волоча ноги в огромных калошах, Ромашов неотступно глядел на этот волшебный пожар. Как и всегда, с самого детства, ему чудилась за яркой вечерней зарей какая-то таинственная, светозарная жизнь. Точно там, далеко-далеко за облаками и за горизонтом, пылал под невидимым отсюда солнцем чудесный, ослепительно-прекрасный город, скрытый от глаз тучами, проникнутыми внутренним огнем. Там сверкали нестерпимым блеском мостовые из золотых плиток, возвышались причудливые купола и башни с пурпурными крышами, сверкали бриллианты в окнах, трепетали в воздухе яркие разноцветные флаги. И чудилось, что в этом далеком и сказочном городе живут радостные, ликующие люди, вся жизнь которых похожа на сладкую музыку, у которых даже задумчивость, даже грусть — очаровательно нежны и прекрасны. Ходят они по сияющим площадям, по тенистым садам, между цветами и фонтанами, ходят, богоподобные, светлые, полные неопишуемой радости, не знающие преград в счастье и желаниях, не омраченные ни скорбью, ни стыдом, ни заботой...

Неожиданно вспомнилась Ромашову недавняя сцена на плацу, грубые крики полкового командира, чувство пережи-

той обиды, чувство острой и в то же время мальчишеской неловкости перед солдатами. Всего большее было для него то, что на него кричали совсем точно так же, как и он иногда кричал на этих молчаливых свидетелей его сегодняшнего позора, и в этом сознании было что-то уничтожавшее разницу положений, что-то принижавшее его офицерское и, как он думал, человеческое достоинство.

И в нем тотчас же, точно в мальчике, — в нем и в самом деле осталось еще много ребяческого, — закипели мстительные, фантастические, опьяняющие мечты. «Глупости! Вся жизнь передо мной! — думал Ромашов, и, в увлечении своими мыслями, он зашагал бодрее и задышал глубже. — Вот, назло им всем, завтра же с утра засяду за книги, подготовлюсь и поступлю в академию. Труд! О, трудом можно сделать все, что захочешь. Взять только себя в руки. Буду зубрить, как бешеный... И вот, неожиданно для всех, я выдерживаю блистательно экзамен. И тогда наверно все они скажут: «Что же тут такого удивительного? Мы были заранее в этом уверены. Такой способный, милый, талантливый молодой человек».

И Ромашов поразительно живо увидел себя ученым офицером генерального штаба, подающим громадные надежды... Имя его записано в академии на золотую доску. Профессора сулят ему блестящую будущность, предлагают остаться при академии, но — нет — он идет в строй. Надо отбывать срок командования ротой. Непременно, уж непременно в своем полку. Вот он приезжает сюда — изящный, снисходительно-небрежный, корректный и дерзко-вежливый, как те офицеры генерального штаба, которых он видел на прошлогодних больших маневрах и на съемках. От общества офицеров он сторонится. Грубые армейские привычки, фамильярность, карты, попойки — нет, это не для него: он помнит, что здесь только этап на пути его дальнейшей карьеры и славы.

Вот начались маневры. Большой двухсторонний бой. Полковник Шульгович не понимает диспозиции, путается, суетит людей и сам суетится, — ему уже делал два раза замечание через ординарцев командир корпуса. «Ну, капитан, выручайте, — обращается он к Ромашову. — Знаете, по старой дружбе. Помните, хе-хе-хе, как мы с вами ссорились! Уж, пожалуйста». Лицо сконфуженное и заискивающее. Но Ромашов, безукоризненно отдавая честь и подавшись вперед на

седле, отвечает с спокойно-высокомерным видом: «Виноват, господин полковник... Это ваша обязанность распорядиться передвижениями полка. Мое дело — принимать приказания и исполнять их...» А уж от командира корпуса летит третий ординарец с новым выговором.

Блестящий офицер генерального штаба Ромашов идет все выше и выше по пути служебной карьеры... Вот вспыхнуло возмущение рабочих на большом сталелитейном заводе. Спешно вытребована рота Ромашова. Ночь, зарево пожара, огромная воющая толпа, летят камни... Стройный, красивый капитан выходит вперед роты. Это — Ромашов. «Братцы, — обращается он к рабочим, — в третий и последний раз предупреждаю, что буду стрелять!...» Крики, свист, хохот... Камень ударяет в плечо Ромашову, но его мужественное, открытое лицо остается спокойным. Он поворачивается назад, к солдатам, у которых глаза пылают гневом, потому что обидели их обожаемого начальника. «Прямо по толпе, пальба ротою... Рота-а, пли!..» Сто выстрелов сливаются в один... Рев ужаса. Десятки мертвых и раненых валяются в кучу... Остальные бегут в беспорядке, некоторые становятся на колени, умоляя о пощаде. Бунт усмирен. Ромашова ждет впереди благодарность начальства и награда за примерное мужество.

А там война... Нет, до войны лучше Ромашов поедет военным шпионом в Германию. Изучит немецкий язык до полного совершенства и поедет. Какая упоительная отвага! Один, совсем один, с немецким паспортом в кармане, с шарманкой за плечами. Обязательно с шарманкой. Ходит из города в город, вертит ручку шарманки, собирает пфенниги, притворяется дураком и в то же время потихоньку снимает планы укреплений, складов, казарм, лагерей. Кругом вечная опасность. Свое правительство отступилось от него, он вне законов. Удастся ему достать ценные сведения — у него деньги, чины, положение, известность, нет — его расстреляют без суда, без всяких формальностей, рано утром во рву какого-нибудь косога капонира. Вот ему сострадательно предлагают завязать глаза косынкой, но он с гордостью швыряет ее на землю. «Разве вы думаете, что настоящий офицер боится поглядеть в лицо смерти?» Старый полковник говорит участливо: «Послушайте, вы молоды, мой сын в таком же возрасте, как и вы. Назовите вашу фамилию, назовите

только вашу национальность, и мы заменим вам смертную казнь заключением». Но Ромашов перебивает его с холодной вежливостью: «Это напрасно, полковник, благодарю вас. Делайте свое дело». Затем он обращается ко взводу стрелков. «Солдаты, — говорит он твердым голосом, конечно, по-немецки, — прошу вас о товарищеской услуге: цельтесь в сердце!» Чувствительный лейтенант, едва скрывая слезы, машет белым платком. Залп...

Эта картина вышла в воображении такой живой и яркой, что Ромашов, уже давно шагавший частыми, большими шагами и глубоко дышавший, вдруг задрожал и в ужасе остановился на месте со сжатыми судорожно кулаками и бьющимся сердцем. Но тотчас же, слабо и виновато улыбнувшись самому себе в темноте, он съезжился и продолжал путь.

Но скоро быстрые, как поток, неодолимые мечты опять овладели им. Началась ожесточенная, кровопролитная война с Пруссией и Австрией. Огромное поле сражения, трупы, гранаты, кровь, смерть! Это генеральный бой, решающий всю судьбу кампании. Подходят последние резервы, ждут с минуты на минуту появления в тылу неприятеля обходной русской колонны. Надо выдержать ужасный натиск врага, надо отстояться во что бы то ни стало. И самый страшный огонь, самые яростные усилия неприятеля направлены на Керенский полк. Солдаты дерутся, как львы, они ни разу не поколебались, хотя ряды их с каждой секундой тают под градом вражеских выстрелов. Исторический момент! Продержаться бы еще минуту, две — и победа будет вырвана у противника. Но полковник Шульгович в смятении; он храбр — это бесспорно, но его нервы не выдерживают этого ужаса. Он закрывает глаза, содрогается, бледнеет... Вот он уже сделал знак горнисту играть отступление, вот уже солдат приложил рожок к губам, но в эту секунду из-за холма на взмыленной арабской лошади вылетает начальник дивизионного штаба, полковник Ромашов. «Полковник, не смей отступать! Здесь решается судьба России!..» Шульгович вспыхивает: «Полковник! Здесь я командую, и я отвечаю перед Богом и государем! Горнист, отбой!» Но Ромашов уже выхватил из рук трубача рожок. «Ребята, вперед! Царь и родина смотрят на вас! Ура!» Бешено, с потрясающим криком ринулись солдаты вперед, вслед за Ромашовым. Все смешалось, заволоклось

дымом, покатилося куда-то в пропасть. Неприятельские ряды дрогнули и отступают в беспорядке. А сзади их, далеко за холмами, уже блестят штыки свежей, обходной колонны. «Ура, братцы, победа!..»

Ромашов, который теперь уже не шел, а бежал, оживленно размахивая руками, вдруг остановился и с трудом пришел в себя. По его спине, по рукам и ногам, под одеждой, по голому телу, казалось, бегали чьи-то холодные пальцы, волосы на голове шевелились, глаза резало от восторженных слез. Он и сам не заметил, как дошел до своего дома, и теперь, очнувшись от пылких грез, с удивлением глядел на хорошо знакомые ему ворота, на жидкий фруктовый сад за ними и на белый крошечный флигелек в глубине сада.

— Какие, однако, глупости лезут в башку! — прошептал он сконфуженно. И его голова робко ушла в приподнятые вверх плечи.

III

Придя к себе, Ромашов, как был, в пальто, не сняв даже шашки, лег на кровать и долго лежал, не двигаясь, тупо и пристально глядя в потолок. У него болела голова и ломило спину, а в душе была такая пустота, точно там никогда не рождалось ни мыслей, ни воспоминаний, ни чувств; не ощущалось даже ни раздражения, ни скуки, а просто лежало что-то большое, темное и равнодушное.

За окном мягко гасли грустные и нежные зеленоватые апрельские сумерки. В сенях тихо возился денщик, осторожно гремя чем-то металлическим.

«Вот странно, — говорил про себя Ромашов, — где-то я читал, что человек не может ни одной секунды не думать. А я вот лежу и ни о чем не думаю. Так ли это? Нет, я сейчас думал о том, что ничего не думаю, — значит, все-таки какое-то колесо в мозгу вертелось. И вот сейчас опять проверяю себя, стало быть, опять-таки думаю...»

И он до тех пор разбирался в этих нудных, запутанных мыслях, пока ему вдруг не стало почти физически противно: как будто у него под черепом расплылась серая, грязная паутина, от которой никак нельзя было освободиться. Он поднял голову с подушки и крикнул:

— Гайнан!..

В сенях что-то грохнуло и покатилося — должно быть, самоварная труба. В комнату ворвался денщик, так быстро и с таким шумом отворив и затворив дверь, точно за ним гнались сзади.

— Я, ваше благородие! — крикнул Гайнан испуганным голосом.

— От поручика Николаева никто не был?

— Никак нет, ваше благородие! — крикнул Гайнан.

Между офицером и денщиком давно уже установились простые, доверчивые, даже несколько любовно-фамильярные отношения. Но когда дело доходило до казенных официальных ответов, вроде «точно так», «никак нет», «здравия желаю», «не могу знать», то Гайнан невольно выкрикивал их тем деревянным, сдавленным, бессмысленным криком, каким всегда говорят солдаты с офицерами в строю. Это была бессознательная привычка, которая въелась в него с первых дней его нобранства и, вероятно, засела на всю жизнь.

Гайнан был родом черемис, а по религии — идолопоклонник. Последнее обстоятельство почему-то очень льстило Ромашову. В полку между молодыми офицерами была распространена довольно наивная, мальчишеская, смехотворная игра: обучать денщиков разным диковинным, необыкновенным вещам. Веткин, например, когда к нему приходили в гости товарищи, обыкновенно спрашивал своего денщика-молдаванина: «А что, Бузескул, осталось у нас в погребе еще шампанское?» Бузескул отвечал на это совершенно серьезно: «Никак нет, ваше благородие, вчера изволили выпить последнюю дюжину». Другой офицер, подпоручик Епифанов, любил задавать своему денщику мудреные, пожалуй, вряд ли ему самому понятные вопросы. «Какого ты мнения, друг мой, — спрашивал он, — о реставрации монархического начала в современной Франции?» И денщик, не сморгнув, отвечал: «Точно так, ваше благородие, это выходит очень хорошо». Поручик Бобетинский учил денщика катехизису, и тот без запинки отвечал на самые удивительные, оторванные от всего вопросы: «Почему сие важно в-третьих?» — «Сие в-третьих не важно», или: «Какого мнения о сем святая церковь?» — «Святая церковь о сем умалчивает». У него же денщик декламировал с нелепыми трагическими жестами монолог Пимена из «Бориса

Годунова». Распространена была также манера заставлять денщиков говорить по-французски: бонжур, мусьё; бонн нюит, мусьё; вуле ву дю те, мусьё¹, — и все в том же роде, что придумывалось, как отяжка, от скуки, от узости замкнутой жизни, от отсутствия других интересов, кроме служебных.

Ромашов часто разговаривал с Гайнаном о его богах, о которых, впрочем, сам черемис имел довольно темные и скудные понятия, а также, в особенности, о том, как он принимал присягу на верность престолу и родине. А принимал он присягу действительно весьма оригинально. В то время когда формулу присяги читал православным — священник, католикам — ксендз, евреям — раввин, протестантам, за неимением пастора — штабс-капитан Диц, а магометанам — поручик Бек-Агамалов, — с Гайнаном была совсем особая история. Полковой адъютант поднес поочередно ему и двум его землякам и единоверцам по куску хлеба с солью на острие шашки, и те, не касаясь хлеба руками, взяли его ртом и тут же съели. Символический смысл этого обряда был, кажется, таков: вот я съел хлеб и соль на службе у нового хозяина, — пусть же меня покарает железо, если я буду неверен. Гайнан, по-видимому, несколько гордился этим исключительным обрядом и охотно о нем вспоминал. А так как с каждым новым разом он вносил в свой рассказ все новые и новые подробности, то в конце концов у него получилась какая-то фантастическая, невероятно нелепая и вправду смешная сказка, весьма занимавшая Ромашова и приходивших к нему подпоручиков.

Гайнан и теперь думал, что поручик сейчас же начнет с ним привычный разговор о богах и о присяге, и потому стоял и хитро улыбался в ожидании. Но Ромашов сказал вяло:

— Ну, хорошо... ступай себе...

— Суртук тебе новый приготовить, ваше благородие? — заботливо спросил Гайнан.

Ромашов молчал и колебался. Ему хотелось сказать — да... потом — нет, потом опять — да. Он глубоко, по-детски, в несколько приемов, вздохнул и ответил уныло:

— Нет уж, Гайнан... зачем уж... Бог с ним... Давай, братец, самовар, да потом сбегаете в собрание за ужином. Чтó уж!

¹ Здравствуйте, сударь; доброй ночи, сударь; хотите чаю, сударь (франц.).

«Сегодня нарочно не пойду, — упрямо, но бессильно подумал он. — Невозможно каждый день надоедать людям, да и... вовсе мне там, кажется, не рады».

В уме это решение казалось твердым, но где-то глубоко и потаенно в душе, почти не проникая в сознание, копошилась уверенность, что он сегодня, как и вчера, как делал это почти ежедневно в последние три месяца, все-таки пойдет к Николаевым. Каждый день, уходя от них в двенадцать часов ночи, он, со стыдом и раздражением на собственную бесхарактерность, давал себе честное слово пропустить неделю или две, а то и вовсе перестать ходить к ним. И пока он шел к себе, пока ложился в постель, пока засыпал, он верил тому, что ему будет легко сдержать свое слово. Но проходила ночь, медленно и противно влачился день, наступал вечер, и его опять неудержимо тянуло в этот чистый, светлый дом, в уютные комнаты, к этим спокойным и веселым людям и, главное, к сладостному обаянию женской красоты, ласки и кокетства.

Ромашов сел на кровати. Становилось темно, но он еще хорошо видел всю свою комнату. О, как надоело ему видеть каждый день все те же убогие немногочисленные предметы его «обстановки». Лампа с розовым колпаком-тюльпаном на крошечном письменном столе, рядом с круглым, торопливо стучащим будильником и чернильницей в виде мопса; на стене вдоль кровати войлочный ковер с изображением тигра и верхового арапа с копьем; жиденькая этажерка с книгами в одном углу, а в другом фантастический силуэт виолончельного футляра; над единственным окном соломенная штора, свернутая в трубку; около двери простыня, закрывающая вешалку с платьем. У каждого холостого офицера, у каждого подпрапорщика были неизменно точно такие же вещи, за исключением, впрочем, виолончели; ее Ромашов взял из полкового оркестра, где она была совсем не нужна, но, не выучив даже мажорной гаммы, забросил и ее и музыку еще год тому назад.

Год тому назад с небольшим Ромашов, только что выйдя из военного училища, с наслаждением и гордостью обзаводился этими пошлыми предметами. Конечно — своя квартира, собственные вещи, возможность покупать, выбирать по своему усмотрению, устраиваться по своему вкусу — все это наполняло самолюбивым восторгом душу двадцатилетнего мальчика,

вчера только сидевшего на ученической скамейке и ходившего к чаю и завтраку в строю, вместе с товарищами. И как много было надежд и планов в то время, когда покупались эти жалкие предметы роскоши!.. Какая строгая программа жизни намечалась! В первые два года — основательное знакомство с классической литературой, систематическое изучение французского и немецкого языков, занятия музыкой. В последний год — подготовка к академии. Необходимо было следить за общественной жизнью, за литературой и наукой, и для этого Ромашов подписался на газету и на ежемесячный популярный журнал. Для самообразования были приобретены: «Психология» Вундта, «Физиология» Льюиса, «Самодетельность» Смайльса...

И вот книги лежат уже девять месяцев на этажерке, и Гайнан забывает сметать с них пыль, газеты с неразорванными бандеролями валяются под письменным столом, журнал больше не высылают за невзнос очередной полугодовой платы, а сам подпоручик Ромашов пьет много водки в собрании, имеет длинную, грязную и скучную связь с полковой дамой, с которой вместе обманывает ее чахоточного и ревнивого мужа, играет в штосс и все чаще и чаще тяготится и службой, и товарищами, и собственной жизнью.

— Виноват, ваше благородие! — крикнул денщик, внезапно с грохотом выскочив из сеней. Но тотчас же он заговорил совершенно другим, простым и добродушным тоном: — Забыл сказать. Тебе от барыни Петерсон письма пришла. Денщик принес, велел тебе ответ писать.

Ромашов, поморщившись, разорвал длинный, узкий розовый конверт, на углу которого летел голубь с письмом в клюве.

— Зажги лампу, Гайнан, — приказал он денщику.

«Милый, дорогой, усатенький Жоржик, — читал Ромашов хорошо знакомые ему, катящиеся вниз, неряшливые строки. — Ты не был у нас вот уже целую неделю, и я так за тобой скучилась, что всю прошлую ночь проплакала. Помни одно, что если хочешь с меня смеяться, то я этой измены не перенесу. Один глоток с пузырька с морфием, и я перестану навек страдать, а тебя сгрызет совесть. Приходи непременно сегодня в 7¹/₂ часов вечера. *Ego* не будет дома, он будет на тактических занятиях, и я тебя крепко, крепко, крепко расцелую, как только смогу. Приходи же. Целую тебя 1 000 000 000... раз.

Вся твоя *Пауса*,

P. S.

Помнишь ли, милая, ветки могучие
Ивы над этой рекой,
Ты мне дарила лобзания жгучие,
Их разделял я с тобой.

P.

P. P. S. Вы непременно, непременно должны быть в собрании на вечере в следующую субботу. Я вас заранее приглашаю на 3-ю кадрили. По значению!!!!!!

R. P.»

И наконец в самом низу четвертой страницы было изображено следующее:

Я
здесь
поцеловала

От письма пахло знакомыми духами — персидской сиренью; капли этих духов желтыми пятнами засохли кое-где на бумаге, и под ними многие буквы расплылись в разные стороны. Этот приторный запах, вместе с пошло-игривым тоном письма, вместе с выплывшим в воображении рыжеволосым, маленьким, лживым лицом, вдруг поднял в Ромашове нестерпимое отвращение. Он со злобным наслаждением разорвал письмо пополам, потом сложил и разорвал на четыре части, и еще, и еще, и когда, наконец, руками стало трудно рвать, бросил клочки под стол, крепко стиснув и оскалив зубы. И все-таки Ромашов в эту секунду успел по своей привычке подумать о самом себе картинно в третьем лице:

«И он рассмеялся горьким, презрительным смехом».

Вместе с тем он сейчас же понял, что непременно пойдет к Николаевым. «Но это уже в самый, самый последний раз!» — пробовал он обмануть самого себя. И ему сразу стало весело и спокойно:

— Гайнан, одеваться!

Он с нетерпением умылся, надел новый сюртук, надушил чистый носовой платок цветочным одеколоном. Но когда он, уже совсем одетый, собрался выходить, его неожиданно остановил Гайнан.

— Ваше благородие! — сказал черемис необычным мягким и просительным тоном и вдруг затанцевал на месте. Он всегда так танцевал, когда сильно волновался или смущался чем-нибудь: выдвигал то одно, то другое колено вперед, поводил плечами, вытягивал и прямил шею и нервно шевелил пальцами опущенных рук.

— Что тебе еще?

— Ваше благородие, хочу тебе, поджаласта, очень попросить. Подари мне белый господин.

— Что такое? Какой белый господин?

— А который велел выбросить. Вот этот, вот...

Он показал пальцем за печку, где стоял на полу бюст Пушкина, приобретенный как-то Ромашовым у захожего разносчика. Этот бюст, кстати, изображавший, несмотря на надпись на нем, старого еврейского маклера, а не великого русского поэта, был так уродливо сработан, так засижен мухами и так намозолил Ромашову глаза, что он действительно приказал на днях Гайнану выбросить его на двор.

— Зачем он тебе? — спросил подпоручик, смеясь. — Да бери, сделай милость, бери. Я очень рад. Мне не нужно. Только зачем тебе?

Гайнан молчал и переминался с ноги на ногу.

— Ну, да ладно, Бог с тобой, — сказал Ромашов. — Только ты знаешь, кто это?

Гайнан ласково и смущенно улыбнулся и затанцевал пуще прежнего.

— Я не знаю... — И утер рукавом губы.

— Не знаешь — так знай. Это — Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Понял? Повтори за мной: Александр Сергеевич...

— Бесиев, — повторил решительно Гайнан.

— Бесиев? Ну, пусть будет Бесиев, — согласился Ромашов. — Однако я ушел. Если придут от Петерсонов, скажешь, что подпоручик ушел, а куда — неизвестно. Понял? А если что-нибудь по службе, то беги за мной на квартиру поручика Николаева. Прощай, старина!.. Возьми из собрания мой ужин и можешь его съесть.

Он дружелюбно хлопнул по плечу черемиса, который в ответ молча улыбнулся ему широко, радостно и фамильярно.

IV

На дворе стояла совершенно черная, непроницаемая ночь, так что сначала Ромашову приходилось, точно слепому, ощупывать перед собой дорогу. Ноги его в огромных калошах уходили глубоко в густую, как рахат-лукум, грязь и вылезали оттуда со свистом и чавканьем. Иногда одну из калош засасывало так сильно, что из нее выскакивала нога, и тогда Ромашову приходилось, балансируя на одной ноге, другой ногой впотьмах наугад отыскивать исчезнувшую калошу.

Местечко точно вымерло, даже собаки не лаяли. Из окон низеньких белых домов кое-где струился туманными прямыми полосами свет и длинными косяками ложился на желто-бурую блестящую землю. Но от мокрых и липких заборов, вдоль которых все время держался Ромашов, от сырой коры тополей, от дорожной грязи пахло чем-то весенним, крепким, счастливым, чем-то бессознательно и весело раздражающим. Даже сильный ветер, стремительно носившийся по улицам, дул по-весеннему неровно, прерывисто, точно вздрагивая, путаясь и шая.

Перед домом, который занимали Николаевы, подпоручик остановился, охваченный минутной слабостью и колебанием. Маленькие окна была закрыты плотными коричневыми занавесками, но за ними чувствовался ровный, яркий свет. В одном месте портьера загнулась, образовав длинную, узкую щель. Ромашов припал головой к стеклу, волнуясь и стараясь дышать как можно тише, точно его могли услышать в комнате.

Он увидел лицо и плечи Александры Петровны, сидевшей глубоко и немного сторбившись на знакомом диване из зеленого рипса. По этой позе и по легким движениям тела, по опущенной низко голове видно было, что она занята рукоделом.

Вот она внезапно выпрямилась, подняла голову кверху и глубоко передохнула... Губы ее шевелятся... «Что она говорит? — думал Ромашов. — Вот улыбнулась. Как это странно — глядеть сквозь окна на говорящего человека и не слышать его!»

Улыбка внезапно сошла с лица Александры Петровны, лоб нахмурился. Опять быстро, с настойчивым выражением заше-

велились губы, и вдруг опять улыбка — шаловливая и насмешливая. Вот покачала головой медленно и отрицательно. «Может быть, это про меня?» — робко подумал Ромашов. Чем-то тихим, чистым, беспечно-спокойным веяло на него от этой молодой женщины, которую он рассматривал теперь, точно нарисованную на какой-то живой, милой, давно знакомой картине. «Шурочка!» — прошептал Ромашов нежно.

Александра Петровна неожиданно подняла лицо от работы и быстро, с тревожным выражением повернула его к окну. Ромашову показалось, что она смотрит прямо ему в глаза. У него от испуга сжалось и похолодело сердце, и он поспешно отпрянул за выступ стены. На одну минуту ему стало известно. Он уже почти готов был вернуться домой, но преодолел себя и через калитку прошел в кухню.

В то время как денщик Николаевых снимал с него грязные калоши и очищал ему кухонной тряпкой сапоги, а он протирал платком запотевшие в тепле очки, поднося их вплотную к близоруким глазам, из гостиной послышался звонкий голос Александры Петровны:

— Степан, это приказ принесли?

«Это она нарочно! — подумал, казня себя, подпоручик. — Знает ведь, что я всегда в такое время прихожу».

— Нет, это я, Александра Петровна! — крикнул он в дверь фальшивым голосом.

— А! Ромочка! Ну, входите, входите. Чего вы там застряли? Володя, это Ромашов пришел.

Ромашов вошел, смущенно и неловко сгорбившись и без нужды потирая руки.

— Воображаю, как я вам надоел, Александра Петровна.

Он сказал это, думая, что у него выйдет весело и развязно, но вышло неловко и, как ему тотчас же показалось, страшно неестественно.

— Опять за глупости! — воскликнула Александра Петровна. — Садитесь, будем чай пить.

Глядя ему в глаза внимательно и ясно, она, по обыкновению, энергично пожала своей маленькой, теплой и мягкой рукой его холодную руку.

Николаев сидел спиной к ним, у стола, заваленного книгами, атласами и чертежами. Он в этом году должен был держать экзамен в академию генерального штаба и весь год

упорно, без отдыха готовился к нему. Это был уж третий эк-
замен, так как два года подряд он проваливался.

Не оборачиваясь назад, глядя в раскрытую перед ним кни-
гу, Николаев протянул Ромашову руку через плечо и сказал
спокойным, густым голосом:

— Здравствуйте, Юрий Алексеич. Новостей нет? Шуроч-
ка! Дай ему чаю. Уж простите меня, я занят.

«Конечно, я напрасно пришел, — опять с отчаянием поду-
мал Ромашов. — О, я дурак!»

— Нет, какие же новости... Центавр разнес в собрании
подполковника Леха. Тот был совсем пьян, говорят. Везде
в ротах требует рубку чучел... Епифана закатал под арест.

— Да? — рассеянно переспросил Николаев. — Скажите
пожалуйста.

— Мне тоже влетело — на четверо суток... Одним словом,
новости старые.

Ромашов казалось, что голос у него какой-то чужой
и такой сдавленный, точно в горле что-то застряло. «Каким
я, должно быть, кажусь жалким!» — подумал он, но тотчас
же успокоил себя тем обычным приемом, к которому часто
прибегают застенчивые люди: «Ведь это всегда, когда конфу-
зишься, то думаешь, что все это видят, а на самом деле только
тебе это заметно, а другим вовсе нет».

Он сел на кресло рядом с Шурочкой, которая, быстро
мелькая крючком, вязала какое-то кружево. Она никогда не
сидела без дела, и все скатерти, салфеточки, абажуры и зана-
вески в доме были связаны ее руками.

Ромашов осторожно взял пальцами нитку, шедшую от
клубка к ее руке, и спросил:

— Как называется это вязанье?

— Гипюр. Вы в десятый раз спрашиваете.

Шурочка вдруг быстро, внимательно взглянула на подпо-
ручика и так же быстро опустила глаза на вязанье. Но сейчас
же опять подняла их и засмеялась.

— Да вы ничего, Юрий Алексеич... вы посидите и оправь-
тесь немного. «Оправьсь!» — как у вас командуют.

Ромашов вздохнул и покосился на могучую шею Николае-
ва, резко белевшую над воротником серой тужурки.

— Счастливцев Владимир Ефимыч, — сказал он. — Вот ле-
том в Петербург поедет... в академию поступит!

— Ну, это еще надо посмотреть! — задорно, по адресу мужа воскликнула Шурочка. — Два раза с позором возвращались в полк. Теперь уж в последний.

Николаев обернулся назад. Его воинственное и доброе лицо с пушистыми усами покраснело, а большие, темные, воловьи глаза сердито блеснули.

— Не болтай глупостей, Шурочка! Я сказал: выдержу — и выдержу. — Он крепко стукнул ребром ладони по столу. — Ты только сидишь и каркаешь. Я сказал!..

— Я сказал! — передразнила его жена и тоже, как и он, ударила маленькой смуглой ладонью по колену. — А ты вот лучше скажи-ка мне, каким условиям должен удовлетворять боевой порядок части? Вы знаете, — бойко и лукаво засмеялась она глазами Ромашову, — я ведь лучше его тактику знаю. Ну-ка, ты, Володя, офицер генерального штаба, — каким условиям?

— Глупости, Шурочка, отстань, — недовольно буркнул Николаев.

Но вдруг он вместе со стулом повернулся к жене, и в его широко раскрывшихся красивых и глуповатых глазах показалось растерянное недоумение, почти испуг.

— Постой, девочка, а ведь я и в самом деле не все помню. Боевой порядок? Боевой порядок должен быть так построен, чтобы он как можно меньше терял от огня, потом, чтобы было удобно командовать. Потом... постой!..

— За постой деньги платят, — торжествующе перебила Шурочка.

И она заговорила скороговоркой, точно первая ученица, опустив веки и покачиваясь:

— Боевой порядок должен удовлетворять следующим условиям: поворотливости, подвижности, гибкости, удобству командования, приспособляемости к местности; он должен возможно меньше терпеть от огня, легко свертываться и развертываться и быстро переходить в походный порядок... Все!

Она открыла глаза, с трудом перевела дух и, обратив смеющееся подвижное лицо к Ромашову, спросила:

— Хорошо?

— Черт, какая память! — завистливо, но с восхищением произнес Николаев, углубляясь в свои тетрадки.

— Мы ведь всё вместе, — пояснила Шурочка. — Я бы хоть сейчас выдержала экзамен. Самое главное, — она ударила по воздуху вязальным крючком, — самое главное — система. Наша система — это мое изобретение, моя гордость. Ежедневно мы проходим кусок из математики, кусок из военных наук — вот артиллерия мне, правда, не дается: все какие-то противные формулы, особенно в баллистике, — потом кусочек из уставов. Затем через день оба языка и через день география с историей.

— А русский? — спросил Ромашов из вежливости.

— Русский? Это — пустое. Правописание по Гроту мы уже одолели. А сочинения ведь известно какие. Одни и те же каждый год. «Para расем, para bellum»¹. «Характеристика Онегина в связи с его эпохой»...

И вдруг, вся оживившись, отнимая из рук подпоручика нитку, как бы для того, чтобы его ничто не развлекало, она страстно заговорила о том, что составляло весь интерес, всю главную суть ее теперешней жизни.

— Я не могу, не могу здесь оставаться, Ромочка! Поймите меня! Остаться здесь — это значит опуститься, стать полковой дамой, ходить на ваши дикие вечера, сплетничать, интриговать и злиться по поводу разных суточных и прогонных... каких-то грошей!.. бррр... устраивать поочередно с приятельницами эти пошлые «балки», играть в винт... Вот, вы говорите, у нас уютно. Да посмотрите же, ради Бога, на это мещанское благополучие! Эти филе и гипюрчики — я их сама связала, это платье, которое я сама переделывала, этот омерзительный мохнатенький ковер из кусочков... все это гадость, гадость! Поймите же, милый Ромочка, что мне нужно общество, большое настоящее общество, свет, музыка, поклонение, тонкая лесть, умные собеседники. Вы знаете, Володя пороху не выдумает, но он честный, смелый, трудолюбивый человек. Пусть он только пройдет в генеральный штаб, и — клянусь — я ему сделаю блестящую карьеру. Я знаю языки, я сумею себя держать в каком угодно обществе, во мне есть — я не знаю, как это выразить, — есть такая гибкость души, что я всюду найдусь, ко всему сумею приспособиться... Наконец, Ромочка, поглядите на меня,

¹ «Если хочешь мира, готовься к войне» (лат.).

поглядите внимательно. Неужели я уж так неинтересна как человек и некрасива как женщина, чтобы мне всю жизнь киснуть в этой трущобе, в этом гадком местечке, которого нет ни на одной географической карте!

И она, поспешно закрыв лицо платком, вдруг расплакалась злыми, самолюбивыми, гордыми слезами.

Муж, обеспокоенный, с недоумевающим и растерянным видом, тотчас же подбежал к ней. Но Шурочка уже успела справиться с собой и отняла платок от лица. Слез больше не было, хотя глаза ее еще сверкали злобным, страстным огоньком.

— Ничего, Володя, ничего, милый, — отстранила она его рукой.

И, уже со смехом обращаясь к Ромашову и опять отнимая у него из рук нитку, она спросила с капризным и кокетливым смехом:

— Отвечайте же, неуклюжий Ромочка, хороша я или нет? Если женщина напрашивается на комплимент, то не отвечать ей — верх невежливости!

— Шурочка, ну как тебе не стыдно, — рассудительно произнес с своего места Николаев.

Ромашов страдальчески-застенчиво улыбнулся, но вдруг ответил чуть-чуть задрожавшим голосом, серьезно и печально:

— Очень красивы!...

Шурочка крепко зажмурила глаза и шаловливо затрясла головой, так что разбившиеся волосы запрыгали у нее по лбу.

— Ро-омочка, какой вы смешно-ой! — пропела она то-леньким детским голоском.

А подпоручик, покраснев, подумал про себя, по обыкновению: «Его сердце было жестоко разбито...»

Все помолчали. Шурочка быстро мелькала крючком. Владимир Ефимович, переводивший на немецкий язык фразы из самоучителя Гуссена и Лангенштейдта, тихонько бормотал их себе под нос. Слышно было, как потрескивал и шипел огонь в лампе, прикрытой желтым шелковым абажуром в виде шатра. Ромашов опять завладел ниткой и потихоньку, еле заметно для самого себя, потягивал ее из рук молодой женщины. Ему доставляло тонкое и нежное наслаждение чувствовать, как руки Шурочки бессознательно сопротивлялись его осто-

рожным усилиям. Казалось, что какой-то таинственный, связывающий и волнующий ток струится по этой нитке.

В то же время он сбоку, незаметно, но неотступно глядел на ее склоненную вниз голову и думал, едва-едва шевеля губами, произнося слова внутри себя, молчаливым шепотом, точно ведя с Шурочкой интимный и чувственный разговор:

«Как она смело спросила: хороша ли я? О! Ты прекрасна! Милая! Вот я сижу и гляжу на тебя — какое счастье! Слушай же: я расскажу тебе, как ты красива. Слушай. У тебя бледное и смуглое лицо. Страстное лицо. И на нем красные, горящие губы — как они должны целовать! — и глаза, окруженные желтоватой тенью... Когда ты смотришь прямо, то белки твоих глаз чуть-чуть голубые, а в больших зрачках мутная, глубокая синева. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то цыганское. Но зато твои волосы так чисты и тонки и сходятся сзади в узел с таким аккуратным, наивным и деловитым выражением, что хочется тихонько потрогать их пальцами. Ты маленькая, ты легкая, я бы поднял тебя на руки, как ребенка. Но ты гибкая и сильная, у тебя грудь, как у девушки, и ты вся — порывистая, подвижная. На левом ухе, внизу, у тебя маленькая родинка, точно след от сережки, — это прелестно!..»

— Вы не читали в газетах об офицерском поединке? — спросила вдруг Шурочка.

Ромашов встрепенулся и с трудом отвел от нее глаза.

— Нет, не читал. Но слышал. А что?

— Конечно, вы, по обыкновению, ничего не читаете. Право, Юрий Алексеевич, вы опускаетесь. По-моему, вышло что-то нелепое. Я понимаю: поединки между офицерами — необходимая и разумная вещь. — Шурочка убедительно прижала вязанье к груди. — Но зачем такая бестактность? Подумайте: один поручик оскорбил другого. Оскорбление тяжелое, общество офицеров постановляет поединок. Но дальше идет чепуха и глупость. Условия — прямо вроде смертной казни: пятнадцать шагов дистанции и драться до тяжелой раны... Если оба противника стоят на ногах, выстрелы возобновляются. Но ведь это — бойня, это... я не знаю что! Но, погодите, это только цветочки. На место дуэли приезжают все офицеры полка, чуть ли даже не полковые дамы, и даже где-то в кустах помещается фотограф. Ведь это ужас, Ромоч-

ка! И несчастный подпоручик, фендрик, как говорит Володя, вроде вас, да еще вдобавок обиженный, а не обидчик, получает после третьего выстрела страшную рану в живот и к вечеру умирает в мучениях. А у него, оказывается, была старушка мать и сестра, старая барышня, которые с ним жили, вот как у нашего Михина... Да послушайте же: для чего, кому нужно было делать из поединка такую кровавую буффонаду? И это, заметьте, на самых первых порах, сейчас же после разрешения поединков. И вот поверьте мне, поверьте! — воскликнула Шурочка, сверкая загоревшимися глазами. — Сейчас же сентиментальные противники офицерских дуэлей, — о, я знаю этих презренных либеральных трусов! — сейчас же они загалдят: «Ах, варварство! Ах, пережиток диких времен! Ах, братоубийство!»

— Однако вы кровожадны, Александра Петровна! — вставил Ромашов.

— Не кровожадна, — нет! — резко возразила она. — Я жалостлива. Я жучка, который мне щекочет шею, сниму и постараюсь не сделать ему больно. Но, попробуйте понять, Ромашов, здесь простая логика. Для чего офицеры? Для войны. Что для войны раньше всего требуется? Смелость, гордость, уметь не сморгнуть перед смертью. Где эти качества всего ярче проявляются в мирное время? В дуэлях. Вот и все. Кажется, ясно. Именно не французским офицерам необходимы поединки, потому что понятие о чести, да еще преувеличенное, в крови у каждого француза, — не немецким, — потому что от рождения все немцы порядочны и дисциплинированы, — а нам, нам, нам. Тогда у нас не будет в офицерской среде карточных шулеров, как Арчаковский, или беспросыпных пьяниц, вроде вашего Назанского; тогда само собой выведется амикошонство, фамильярное зубоскальство в собрании, при прислуге, это ваше взаимное сквернословие, пускание в голову друг друга графинов, с целью все-таки не попасть, промахнуться. Тогда вы не будете за глаза так поносить друг друга. У офицера каждое слово должно быть взвешено. Офицер — это образец корректности. И потом, что за нежности: боязнь выстрела! Ваша профессия — рисковать жизнью. Ах, да что!

Она капризно оборвала свою речь и с сердцем ушла в работу. Опять стало тихо.

— Шурочка, как перевести по-немецки — соперник? — спросил Николаев, подымая голову от книги.

— Соперник? — Шурочка задумчиво потрогала крючком пробор своих мягких волос. — А скажи всю фразу.

— Тут сказано... сейчас, сейчас... Наш заграничный соперник...

— Unser ausländischer Nebenbuhler, — быстро, тотчас же перевела Шурочка.

— Унзер, — повторил шепотом Ромашов, мечтательно заглядевшись на огонь лампы. «Когда ее что-нибудь взволнует, — подумал он, — то слова у нее вылетают так стремительно, звонко и отчетливо, точно сыплется дробь на серебряный поднос». Унзер — какое смешное слово... Унзер, унзер, унзер...

— Что вы шепчете, Ромочка? — вдруг строго спросила Александра Петровна. — Не смейте бредить в моем присутствии.

Он улыбнулся рассеянной улыбкой.

— Я не брежу... Я все повторял про себя: унзер, унзер. Какое смешное слово...

— Что за глупости... Унзер? Отчего смешное?

— Видите ли... — Он затруднялся, как объяснить свою мысль. — Если долго повторять какое-нибудь одно слово и вдумываться в него, то оно вдруг потеряет смысл и станет таким... как бы вам сказать?..

— Ах, знаю, знаю! — торопливо и радостно перебила его Шурочка. — Но только это теперь не так легко делать, а вот раньше, в детстве, — ах как это было забавно!..

— Да, да, именно в детстве. Да.

— Как же, я отлично помню. Даже помню слово, которое меня особенно поражало: «может быть». Я все качалась с закрытыми глазами и твердила: «Может быть, может быть...» И вдруг — совсем позабывала, что оно значит, потом старалась — и не могла вспомнить. Мне все казалось, будто это какое-то коричневое, красноватое пятно с двумя хвостиками. Правда ведь?

Ромашов с нежностью поглядел на нее.

— Как это странно, что у нас одни и те же мысли, — сказал он тихо. — А унзер, понимаете, это что-то высокое-высокое, что-то худощавое и с жалом. Вроде как какое-то длинное, тонкое насекомое, и очень злое.

— Унзер? — Шурочка подняла голову и, прищурясь, посмотрела вдаль, в темный угол комнаты, стараясь представить себе то, о чем говорил Ромашов. — Нет, погодите: это что-то зеленое, острое. Ну да, ну да, конечно же, — насекомое! Вроде кузнечика, только противнее и злее... Фу, какие мы с вами глупые, Ромочка.

— А то вот еще бывает, — начал таинственно Ромашов, — и опять-таки в детстве это было гораздо ярче. Произношу я какое-нибудь слово и стараюсь тянуть его как можно дольше. Растягиваю бесконечно каждую букву. И вдруг на один момент мне делается так странно, странно, как будто бы все вокруг меня исчезло. И тогда мне делается удивительно, что это я говорю, что я живу, что я думаю.

— О, я тоже это знаю! — весело подхватила Шурочка. — Но только не так. Я, бывало, затаиваю дыхание, пока хватит сил, и думаю: вот я не дышу, и теперь еще не дышу, и вот до сих пор, и до сих, и до сих... И тогда наступало это странное. Я чувствовала, как мимо меня проходило время. Нет, это не то: может быть, вовсе времени не было. Это нельзя объяснить.

Ромашов глядел на нее восхищенными глазами и повторял глухим, счастливым, тихим голосом:

— Да, да... этого нельзя объяснить... Это странно... Это необъяснимо...

— Ну, однако, господа психологи, или как вас там, довольно, пора ужинать, — сказал Николаев, вставая со стула.

От долгого сиденья у него затекли ноги и заболела спина. Вытянувшись во весь рост, он сильно потянулся вверх и выгнул грудь, и все его большое, мускулистое тело захрустело в суставах от этого мощного движения.

В крошечной, но хорошенькой столовой, ярко освещенной тысячей фарфоровой матово-белой лампой, была накрыта холодная закуска. Николаев не пил, но для Ромашова был поставлен графинчик с водкой. Собрав свое милое лицо в брезгливую гримасу, Шурочка спросила небрежно, как она и часто спрашивала:

— Вы, конечно, не можете без этой гадости обойтись?

Ромашов виновато улыбнулся и от замешательства поперхнулся водкой и закашлялся.

— Как вам не совестно! — наставительно заметила хозяйка. — Еще и пить не умеете, а тоже... Я понимаю, вашему

возлюбленному Назанскому простительно, он отпетый человек, но вам-то зачем? Молодой такой, славный, способный мальчик, а без водки не сядете за стол... Ну зачем? Это все Назанский вас портит.

Ее муж, читавший в это время только что принесенный приказ, вдруг воскликнул:

— Ах, кстати: Назанский увольняется в отпуск на один месяц по домашним обстоятельствам. Тю-тю-у! Это значит — запил. Вы, Юрий Алексеевич, наверно, его видели?. Что он, закурил?

Ромашов смущенно заморгал веками.

— Нет, я не заметил. Впрочем, кажется, пьет...

— Ваш Назанский — противный! — с озлоблением, сдержанным низким голосом сказала Шурочка. — Если бы от меня зависело, я бы таких людей стреляла, как бешеных собак. Такие офицеры — позор для полка, мерзость!

Тотчас же после ужина Николаев, который ел так же много и усердно, как и занимался своими науками, стал зевать и наконец откровенно заметил:

— Господа, а что, если бы на минутку пойти поспать? «Соснуть», как говорились в старых добрых романах.

— Это совершенно справедливо, Владимир Ефимыч, — подхватил Ромашов с какой-то, как ему самому показалось, торопливой и угодливой развязностью. В то же время, вставая из-за стола, он подумал уныло: «Да, со мной здесь не церемонятся. И только зачем я лезу?»

У него было такое впечатление, как будто Николаев с удовольствием выгоняет его из дому. Но тем не менее, прощаясь с ним нарочно раньше, чем с Шурочкой, он думал с наслаждением, что вот сию минуту он почувствует крепкое и ласкающее пожатие милой женской руки. Об этом он думал каждый раз уходя. И когда этот момент наступил, то он до такой степени весь ушел душой в это очаровательное пожатие, что не слышал, как Шурочка сказала ему:

— Вы смотрите, не забывайте нас. Здесь вам всегда рады. Чем пьянствовать со своим Назанским, сидите лучше у нас. Только помните: мы с вами не церемонимся.

Он услышал эти слова в своем сознании и понял их, только выйдя на улицу.

— Да, со мной не церемонятся, — прошептал он с той горькой обидчивостью, к которой так болезненно склонны молодые и самолюбивые люди его возраста.

V

Ромашов вышел на крыльцо. Ночь стала точно еще гуще, еще чернее и теплее. Подпоручик ощупью шел вдоль плетня, держась за него руками, и дожидался, пока его глаза привыкнут к мраку. В это время дверь, ведущая в кухню Николаевых, вдруг открылась, выбросив на мгновение в темноту большую полосу туманного желтого света. Кто-то зашлепал по грязи, и Ромашов услышал сердитый голос денщика Николаевых, Степана:

— Ходить, ходить кажын день. И чего ходить, черт его знает?..

А другой солдатский голос, незнакомый подпоручику, ответил равнодушно, вместе с продолжительным, ленивым зевком:

— Дела, братец ты мой... С жиру это все. Ну, прощевай, что ли, Степан.

— Прощай, Баулин. Заходи когда.

Ромашов прилип к забору. От острого стыда он покраснел, несмотря на темноту; все тело его покрылось сразу испариной, и точно тысячи иголок закололи его кожу на ногах и на спине. «Конечно! Даже денщики смеются», — подумал он с отчаянием. Тотчас же ему припомнился весь сегодняшний вечер, и в разных словах, в тоне фраз, во взглядах, которыми обменивались хозяева, он сразу увидел много не замеченных им раньше мелочей, которые, как ему теперь казалось, свидетельствовали о небрежности и о насмешке, о нетерпеливом раздражении против надоедливой гостя.

— Какой позор, какой позор! — шептал подпоручик, не двигаясь с места. — Дойти до того, что тебя едва терпят, когда ты приходишь... Нет, довольно. Теперь я уж твердо знаю, что довольно!

В гостиной у Николаевых потух огонь. «Вот они уже в спальне», — подумал Ромашов и необыкновенно ясно представил себе, как Николаевы, ложась спать, раздеваются друг при друге с привычным равнодушием и бесстыдством давно

женатых людей и говорят о нем. Она в одной юбке причесывает перед зеркалом на ночь волосы. Владимир Ефимович сидит в нижнем белье на кровати, снимает сапог и, краснея от усилия, говорит сердито и сонно: «Мне, знаешь, Шурочка, твой Ромашов надоел вот до каких пор. Удивляюсь, чего ты с ним так возишься?» А Шурочка, не выпуская изо рта шпилек и не оборачиваясь, отвечает ему в зеркало недовольным тоном: «Вовсе он не мой, а твой!..»

Прошло еще пять минут, пока Ромашов, терзаемый этими мучительными и горькими мыслями, решился двинуться дальше. Мимо всего длинного плетня, ограждавшего дом Николаевых, он прошел крадучись, осторожно вытаскивая ноги из грязи, как будто его могли услышать и поймать на чем-то нехорошем. Домой идти ему не хотелось; даже было жутко и противно вспоминать о своей узкой и длинной, об одном окне, комнате, со всеми надоевшими до отвращения предметами. «Вот, *назло ей*, пойду к Назанскому, — решил он внезапно и сразу почувствовал в этом какое-то мстительное удовлетворение. — Она выговаривала мне за дружбу с Назанским, так вот же назло! И пускай!..»

Подняв глаза к небу и крепко прижав руку к груди, он с жаром сказал про себя: «Клянусь, клянусь, что в последний раз приходил к ним. Не хочу больше испытывать такого унижения. Клянусь!»

И сейчас же, по своей привычке, прибавил мысленно:

«Его выразительные черные глаза сверкали решимостью и презрением!»

Хотя глаза у него были вовсе не черные, а самые обыкновенные — желтоватые, с зеленым ободком.

Назанский снимал комнату у своего товарища, поручика Зегржта. Этот Зегржт был, вероятно, самым старым поручиком во всей русской армии, несмотря на безукоризненную службу и на участие в турецкой кампании. Каким-то роковым и необъяснимым образом ему не везло в чиновничьем производстве. Он был вдов, с четырьмя маленькими детьми, и все-таки кое-как изворачивался на своем сорокавосемьрублевом жалованье. Он снимал большие квартиры и сдавал их по комнатам холостым офицерам, держал столовников, разводил кур и индюшек, умел как-то особенно дешево и благоговременно покупать дрова. Детей своих он сам купал в ко-

рытцах, сам лечил их домашней аптечкой и сам шил им на швейной машине лифчики, панталончики и рубашечки. Еще до женитьбы Зегржт, как и очень многие холостые офицеры, пристрастился к ручным женским работам, теперь же его заставляла заниматься ими крутая нужда. Злые языки говорили про него, что он тайно, под рукой отсылает свои рукоделия куда-то на продажу.

Но все эти мелочные хозяйственные ухищрения плохо помогали Зегржту. Домашняя птица дохла от повальных болезней, комнаты пустовали, нахлебники ругались из-за плохого стола и не платили денег, и периодически, раза четыре в год, можно было видеть, как худой, длинный, бородатый Зегржт с растерянным потным лицом носился по городу в чайнии перехватить где-нибудь денег, причем его блинообразная фуражка сидела козырьком на боку, а древняя николаевская шинель, сшитая еще до войны, трепетала и развевалась у него за плечами наподобие крыльев.

Теперь у него в комнатах светился огонь, и, подойдя к окну, Ромашов увидел самого Зегржта. Он сидел у круглого стола под висячей лампой и, низко наклонив свою плешивую голову с измызганным, морщинистым и кротким лицом, вышивал красной бумагой какую-то полотняную вставку — должно быть, грудь для малороссийской рубашки. Ромашов побарабанил в стекло. Зегржт вздрогнул, отложил работу в сторону и подошел к окну.

— Это я, Адам Иванович. Отворите-ка на секунду, — сказал Ромашов.

Зегржт влез на подоконник и просунул в форточку свой лысый лоб и свалывшуюся на один бок жидкую бороду.

— Это вы, подпоручик Ромашов? А что?

— Назанский дома?

— Дома, дома. Куда же ему идти? Ах, Господи, — борода Зегржта затряслась в форточке, — морочит мне голову ваш Назанский. Второй месяц посылаю ему обеды, а он все только обещает заплатить. Когда он переезжал, я его убедительно просил, во избежание недоразумений...

— Да, да, да... это... в самом деле... — перебил рассеянно Ромашов. — А, скажите, каков он? Можно его видеть?

— Думаю, можно... Ходит все по комнате. — Зегржт на секунду прислушался. — Вот и теперь ходит. Вы понимаете,

я ему ясно говорил: во избежание недоразумений условимся, чтобы плата...

— Извините, Адам Иванович, я сейчас, — прервал его Ромашов. — Если позволите, я зайду в другой раз. Очень спешное дело...

Он прошел дальше и завернул за угол. В глубине палисадника, у Назанского горел огонь. Одно из окон было раскрыто настежь. Сам Назанский, без сюртука, в нижней рубашке, расстегнутой у ворота, ходил взад и вперед быстрыми шагами по комнате; его белая фигура и золотоволосая голова то мелькали в просветах окон, то скрывались за простенками. Ромашов перелез через забор палисадника и окликнул его.

— Кто это? — спокойно, точно он ожидал оклика, спросил Назанский, высунувшись наружу через подоконник. — А, это вы, Георгий Алексеич? Подождите: через двери вам будет далеко и темно. Лезьте в окно. Давайте вашу руку.

Комната у Назанского была еще беднее, чем у Ромашова. Вдоль стены у окна стояла узенькая, низкая, вся вогнувшаяся дугой кровать, такая тощая, точно на ее железках лежало одно только розовое пикейное одеяло; у другой стены — простой некрашенный стол и две грубых табуретки. В одном из углов комнаты был плотно пригнан, на манер кивота, узенький деревянный поставец. В ногах кровати помещался кожаный рыжий чемодан, весь облепленный железнодорожными бумажками. Кроме этих предметов, не считая лампы на столе, в комнате не было больше ни одной вещи.

— Здравствуйте, мой дорогой, — сказал Назанский, крепко пожимая и встряхивая руку Ромашова и глядя ему прямо в глаза задумчивыми, прекрасными голубыми глазами. — Садитесь-ка вот здесь, на кровать. Вы слышали, что я подал рапорт о болезни?

— Да. Мне сейчас об этом говорил Николаев.

Опять Ромашову вспомнились ужасные слова денщика Степана, и лицо его страдальчески сморщилось.

— А! Вы были у Николаевых? — вдруг с живостью и с видимым интересом спросил Назанский. — Вы часто бываете у них?

Какой-то смутный инстинкт осторожности, вызванный необычным тоном этого вопроса, заставил Ромашова солгать, и он ответил небрежно:

— Нет, совсем не часто. Так, случайно зашел.

Назанский, ходивший взад и вперед по комнате, остановился около поставца и отворил его. Там на полке стоял графин с водкой и лежало яблоко, разрезанное аккуратными, тонкими ломтями. Стоя спиной к гостю, он торопливо налил себе рюмку и выпил. Ромашов видел, как конвульсивно содрогнулась его спина под тонкой полотняной рубашкой.

— Не хотите ли? — предложил Назанский, указывая на поставец. — Закуска небогатая, но, если голодны, можно соорудить яичницу. Можно воздействовать на Адама, ветхого человека.

— Спасибо. Я потом.

Назанский прошелся по комнате, засунув руки в карманы. Сделав два конца, он заговорил, точно продолжая только что прерванную беседу:

— Да. Так вот я все хожу и все думаю. И, знаете, Ромашов, я счастлив. В полку завтра все скажут, что у меня запой. А что ж, это, пожалуй, и верно, только это не совсем так. Я теперь счастлив, а вовсе не болен и не страдаю. В обыкновенное время мой ум и моя воля подавлены. Я сливаюсь тогда с голодной, трусливой серединой и бываю пошл, скучен самому себе, благоразумен и рассудителен. Я ненавижу, например, военную службу, но служу. Почему я служу? Да черт его знает почему! Потому что мне с детства твердили и теперь все кругом говорят, что самое главное в жизни — это служить и быть сытым и хорошо одетым. А философия, говорят они, это чепуха, это хорошо тому, кому нечего делать, кому маменька оставила наследство. И вот я делаю вещи, к которым у меня совершенно не лежит душа, исполняю ради животного страха жизни приказания, которые мне кажутся порой жестокими, а порой бессмысленными. Мое существование однообразно, как забор, и серо, как солдатское сукно. Я не смею задуматься, — не говорю о том, чтобы рассуждать вслух, — о любви, о красоте, о моих отношениях к человечеству, о природе, о равенстве и счастье людей, о поэзии, о Боге. Они смеются: ха-ха-ха, это все философия!.. Смешно, и дико, и непозволительно думать офицеру армейской пехоты о возвышенных материях. Это философия, черт возьми, следовательно — чепуха, праздная и нелепая болтовня.

— Но это — главное в жизни, — задумчиво произнес Ромашов.

— И вот наступает для меня это время, которое они зовут таким жестоким именем, — продолжал, не слушая его, Назанский. Он все ходил взад и вперед и по временам делал убедительные жесты, обращаясь, впрочем, не к Ромашову, а к двум противоположным углам, до которых по очереди доходил. — Это время моей свободы, Ромашов, свободы духа, воли и ума! Я живу тогда, может быть, странной, но глубокой, чудесной внутренней жизнью. Такой полной жизнью! Все, что я видел, о чем читал или слышал, — все оживляется во мне, все приобретает необычайно яркий свет и глубокий, бездонный смысл. Тогда память моя — точно музей редких откровений. Понимаете — я Ротшильд! Беру первое, что мне попадается, и размышляю о нем, долго, проникновенно, с наслаждением. О лицах, о встречах, о характерах, о книгах, о женщинах — ах, особенно о женщинах и о женской любви!.. Иногда я думаю об ушедших великих людях, о мучениках науки, о мудрецах и героях и об их удивительных словах. Я не верю в Бога, Ромашов, но иногда я думаю о святых угодниках, подвижниках и страстотерпцах и возобновляю в памяти каноны и умилительные акафисты. Я ведь, дорогой мой, в бурсе учился, и память у меня чудовищная. Думаю я обо всем об этом, и случается, так вдруг иногда горячо прочувствую чужую радость, или чужую скорбь, или бессмертную красоту какого-нибудь поступка, что хожу вот так, один... и плачу, — страстно, жарко плачу...

Ромашов потихоньку встал с кровати и сел с ногами на открытое окно, так что его спина и его подошвы упирались в противоположные косяки рамы. Отсюда, из освещенной комнаты, ночь казалась еще темнее, еще глубже, еще таинственнее. Теплый, порывистый, но беззвучный ветер шевелил внизу под окном черные листья каких-то низеньких кустов. И в этом мягком воздухе, полном странных весенних ароматов, в этой тишине, темноте, в этих преувеличенно ярких и точно теплых звездах — чувствовалось тайное и страстное брожение, угадывалась жажда материнства и расточительное сладострастие земли, растений, деревьев — целого мира.

А Назанский все ходил по комнате и говорил, не глядя на Ромашова, точно обращаясь к стенам и к углам комнаты:

— Мысль в эти часы бежит так прихотливо, так пестро и так неожиданно. Ум становится острым и ярким, воображение — точно поток! Все вещи и лица, которые я вызываю, стоят передо мною так рельефно и так восхитительно ясно, точно я вижу их в камер-обскуре. Я знаю, я знаю, мой милый, что это обострение чувств, все это духовное озарение — увы! — не что иное, как физиологическое действие алкоголя на нервную систему. Сначала, когда я впервые испытал этот чудный подъем внутренней жизни, я думал, что это — само вдохновение. Но нет: в нем нет ничего творческого, нет даже ничего прочного. Это просто болезненный процесс. Это просто внезапные приливы, которые с каждым разом все больше и больше разъедают дно. Да. Но все-таки это безумие сладко мне, и... к черту спасительная бережливость и вместе с ней к черту дурацкая надежда прожить до ста десяти лет и попасть в газетную смесь, как редкий пример долговечия... Я счастлив — и все тут!

Назанский опять подошел к поставцу и, выпив, аккуратно притворил дверцы. Ромашов лениво, почти бессознательно, встал и сделал то же самое.

— О чем же вы думали перед моим приходом, Василий Нилыч? — спросил он, садясь по-прежнему на подоконник.

Но Назанский почти не слышал его вопроса.

— Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах! — воскликнул он, дойдя до дальнего угла и обращаясь к этому углу с широким, убедительным жестом. — Нет, не грязно думать. Зачем? Никогда не надо делать человека, даже в мыслях, участником зла, а тем более грязи. Я думаю часто о нежных, чистых, изящных женщинах, об их светлых и прелестных улыбках, думаю о молодых, целомудренных матерях, о любовницах, идущих ради любви на смерть, о прекрасных, невинных и гордых девушках с белоснежной душой, знающих все и ничего не боящихся. Таких женщин нет. Впрочем, я не прав. Наверно, Ромашов, такие женщины есть, но мы с вами их никогда не увидим. Вы еще, может быть, увидите, но я — нет.

Он стоял теперь перед Ромашовым и глядел ему прямо в лицо, но по мечтательному выражению его глаз и по неопределенной улыбке, блуждавшей вокруг его губ, было заметно, что он не видит своего собеседника. Никогда еще лицо Назанского, даже в его лучшие, трезвые минуты, не

казалось Ромашову таким красивым и интересным. Золотые волосы падали крупными цельными локонами вокруг его высокого, чистого лба, густая, четырехугольной формы, рыжая, небольшая борода лежала правильными волнами, точно нагофрированная, и вся его массивная и изящная голова, с обнаженной шеей благородного рисунка, была похожа на голову одного из тех греческих героев или мудрецов, великолепные бюсты которых Ромашов видел где-то на гравюрах. Ясные, чуть-чуть влажные голубые глаза смотрели оживленно, умно и кротко. Даже цвет этого красивого, правильного лица поражал своим ровным, нежным, розовым тоном, и только очень опытный взгляд различил бы в этой кажущейся свежести, вместе с некоторой опухлостью черт, результат алкогольного воспаления крови.

— Любовь! К женщине! Какая бездна тайны! Какое наслаждение и какое острое, сладкое страдание! — вдруг воскликнул восторженно Назанский.

Он в волнении схватил себя руками за волосы и опять метнулся в угол, но, дойдя до него, остановился, повернулся лицом к Ромашову и весело захохотал. Подпоручик с тревогой следил за ним.

— Вспомнилась мне одна смешная история, — добродушно и просто заговорил Назанский. — Эх, мысли-то у меня как прыгают!.. Сидел я однажды в Рязани на станции «Ока» и ждал парохода. Ждать приходилось, пожалуй, около суток, — это было во время весеннего разлива, — и я — вы, конечно, понимаете — свил себе гнездо в буфете. А за буфетом стояла девушка, так лет восемнадцати, — такая, знаете ли, некрасивая, в оспинках, но бойкая такая, черноглазая, с чудесной улыбкой и в конце концов премилая. И было нас только трое на станции: она, я и маленький белобрысый телеграфист. Впрочем, был и ее отец, знаете — такая красная, толстая, сивая подрядческая морда, вроде старого и свирепого меделянского пса. Но отец был как бы за кулисами. Выйдет на две минуты за прилавок и все зевает, и все чешет под жилетом брюхо, не может никак глаз разлепить. Потом уйдет опять спать. Но телеграфистик приходил постоянно. Помню, облокотился он на стойку локтями и молчит. И она молчит, смотрит в окно, на разлив. А там вдруг юноша запоем говорит:

Лю-юбовь — что такое?
Что тако-ое любовь?
Это чувство неземное,
Что волнует нашу кровь.

И опять замолчит. А через пять минут она замурлычет: «Любовь — что такое? Что такое любовь?..» Знаете, такой пошленький-пошленький мотивчик. Должно быть, оба слышали его где-нибудь в оперетке или с эстрады... небось нарочно в город пешком ходили. Да. Попоют и опять помолчат. А потом она, как будто незаметно, все поглядывая в окошечко, глядь — и забудет руку на стойке, а он возьмет ее в свои руки и перебирает палец за пальцем. И опять: «Лю-бовь — что такое?..» На дворе — весна, разлив, томность. И так они круглые сутки. Тогда эта «любовь» мне порядком надоела, а теперь, знаете, трогательно вспомнить. Ведь таким манером они, должно быть, любезничали до меня недели две, а может быть, и после меня с месяц. И я только потом почувствовал, какое это счастье, какой луч света в их бедной, узенькой-узенькой жизни, ограниченной еще больше, чем наша нелепая жизнь — о, куда! — в сто раз больше!.. Впрочем... Постойте-ка, Ромашов. Мысли у меня путаются. К чему это я о телеграфисте?

Назанский опять подошел к поставцу. Но он не пил, а, повернувшись спиной к Ромашову, мучительно тер лоб и крепко сжимал виски пальцами правой руки. И в этом нервном движении было что-то жалкое, бессильное, приниженное.

— Вы говорили о женской любви — о бездне, о тайне, о радости, — напомнил Ромашов.

— Да, любовь! — воскликнул Назанский ликующим голосом. Он быстро выпил рюмку, отвернулся с загоревшимися глазами от поставца и торопливо утер губы рукавом рубашки. — Любовь! Кто понимает ее? Из нее сделали тему для грязных, помойных опереток, для похабных карточек, для мерзких анекдотов, для мерзких-мерзких стишков. Это мы, офицеры, сделали. Вчера у меня был Диц. Он сидел на том же самом месте, где теперь сидите вы. Он играл своим золотым пенсне и говорил о женщинах. Ромашов, дорогой мой, если бы животные, например собаки, обладали даром понимания человеческой речи и если бы одна из них услышала

вчера Дица, ей-богу, она ушла бы из комнаты от стыда. Вы знаете — Диц хороший человек, да и все хорошие, Ромашов: дурных людей нет. Но он стыдится иначе говорить о женщинах, стыдится из боязни потерять свое реноме циника, развратника и победителя. Тут какой-то общий обман, какое-то напускное мужское молодечество, какое-то хвастливое презрение к женщине. И все это оттого, что для большинства в любви, в обладании женщиной, понимаете, в окончательном обладании, — таится что-то грубо-животное, что-то эгоистичное, только для себя, что-то сокровенно-низменное, блудливое и постыдное — черт! — я не умею этого выразить. И оттого-то у большинства вслед за обладанием идет холодность, отвращение, вражда. Оттого-то люди и отвели для любви ночь, так же как для воровства и для убийства... Тут, дорогой мой, природа устроила для людей какую-то засаду с приманкой и с петлей.

— Это правда, — тихо и печально согласился Ромашов.

— Нет, неправда! — громко крикнул Назанский. — А я вам говорю — неправда. Природа, как и во всем, распорядилась гениально. То-то и дело, что для поручика Дица вслед за любовью идет брезгливость и пресыщение, а для Данте вся любовь — прелесть, очарование, весна! Нет, нет, не думайте: я говорю о любви в самом прямом, телесном смысле. Но она — удел избранных. Вот вам пример: все люди обладают музыкальным слухом, но у миллионов он, как у рыбы трески или как у штабс-капитана Васильченки, а один из этого миллиона — Бетховен. Так во всем: в поэзии, в искусстве, в мудрости... И любовь, говорю я вам, имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов.

Он подошел к окну, прислонился лбом к углу стены рядом с Ромашовым и, задумчиво глядя в теплый мрак весенней ночи, заговорил вздрагивающим, глубоким, проникновенным голосом:

— О, как мы не умеем ценить ее тонких, неуловимых прелестей, мы — грубые, ленивые, недалевидные. Понимаете ли вы, сколько разнообразного счастья и очаровательных мучений заключается в нераздельной, безнадежной любви? Когда я был помоложе, во мне жила одна греза: влюбиться в недосыгаемую, необыкновенную женщину, такую, знаете ли, с которой у меня никогда и ничего не может быть общего. Влюбиться и всю

жизнь, все мысли посвятить ей. Все равно: наняться поденщиком, поступить в лакеи, в кучера — переодеваться, хитрить, чтобы только хоть раз в год случайно увидеть ее, поцеловать следы ее ног на лестнице, чтобы — о какое блаженство! — раз в жизни прикоснуться к ее платью.

— И кончить сумасшествием, — мрачно сказал Ромашов.

— Ах, милый мой, не все ли равно! — возразил с пылкостью Назанский и опять нервно забегал по комнате. — Может быть, — почему знать? — вы тогда-то и вступите в блаженную сказочную жизнь. Ну, хорошо; вы сойдете с ума от этой удивительной, невероятной любви, а поручик Диц сойдет с ума от прогрессивного паралича и от гадких болезней. Что же лучше? Но подумайте только, какое счастье — стоять целую ночь на другой стороне улицы, в тени, и глядеть в окно обожаемой женщины. Вот осветилось оно изнутри, на занавеске движется тень. Не она ли это? Что она делает? Что думает? Погас свет. Спи мирно, моя радость, спи, возлюбленная моя!.. И день уже полон — это победа! Дни, месяцы, годы употреблять все силы изобретательности и настойчивости, и вот — великий, умопомрачительный восторг: у тебя в руках ее платок, бумажка от конфеты, оброненная афиша. Она ничего не знает о тебе, никогда не услышит о тебе, глаза ее скользят по тебе, не видя, но ты тут, подле, всегда обожающий, всегда готовый отдать за нее — нет, зачем за нее — за ее каприз, за ее мужа, за любовника, за ее любимую собачонку — отдать и жизнь, и честь, и все, что только возможно отдать! Ромашов, таких радостей не знают красавцы и победители.

— О, как это верно! Как хорошо все, что вы говорите! — воскликнул взволнованный Ромашов. Он уже давно встал с подоконника и так же, как и Назанский, ходил по узкой, длинной комнате, ежеминутно сталкиваясь с ним и останавливаясь. — Какие мысли приходят вам в голову! Я вам расскажу про себя. Я был влюблен в одну... женщину. Это было не здесь, не здесь... еще в Москве... я был... юнкером. Но она не знала об этом. И мне доставляло чудесное удовольствие сидеть около нее и, когда она что-нибудь работала, взять нитку и потихоньку тянуть к себе. Только и всего. Она не замечала этого, совсем не замечала, а у меня от счастья кружилась голова.

— Да, да, я понимаю, — кивал головой Назанский, весело и ласково улыбаясь. — Я понимаю вас. Это — точно проволока, точно электрический ток? Да? Какое-то тонкое, нежное общение? Ах, милый мой, жизнь так прекрасна!..

Назанский замолчал, растроганный своими мыслями, и его голубые глаза, наполнившись слезами, заблестели. Ромашова также охватила какая-то неопределенная, мягкая жалость и немного истеричное умиление. Эти чувства относились одинаково и к Назанскому и к нему самому.

— Василий Нилыч, я удивляюсь вам, — сказал он, взяв Назанского за обе руки и крепко сжимая их. — Вы — такой талантливый, чуткий, широкий человек, и вот... точно нарочно губите себя. О нет, нет, я не смею читать вам пошлой морали... Я сам... Но что, если бы вы встретили в своей жизни женщину, которая сумела бы вас оценить и была бы вас достойна. Я часто об этом думаю!..

Назанский остановился и долго смотрел в раскрытое окно.

— Женщина... — протянул он задумчиво. — Да! Я вам расскажу! — воскликнул он вдруг решительно. — Я встретился один-единственный раз в жизни с чудной, необыкновенной женщиной. С девушкой... Но знаете, как это у Гейне: «Она была достойна любви, и он любил ее, но он был недостоин любви, и она не любила его». Она разлюбила меня за то, что я пью... впрочем, я не знаю, может быть, я пью оттого, что она меня разлюбила. Она... ее здесь тоже нет... это было давно. Ведь вы знаете, я прослужил сначала три года, потом был четыре года в запасе, а потом три года тому назад опять поступил в полк. Между нами не было романа. Всего десять-пятнадцать встреч, пять-шесть интимных разговоров. Но — думали ли вы когда-нибудь о неотразимой, обаятельной власти прошедшего? Так вот, в этих невинных мелочах — все мое богатство. Я люблю ее до сих пор. Подождите, Ромашов... Вы стоите этого. Я вам прочту ее единственное письмо — первое и последнее, которое она мне написала.

Он сел на корточки перед чемоданом и стал неторопливо переворачивать в нем какие-то бумаги. В то же время продолжал говорить:

— Пожалуй, она никогда и никого не любила, кроме себя. В ней пропасть властолюбия, какая-то злая и гордая сила. И в то же время она — такая добрая, женственная, бесконечно милая.

Точно в ней два человека: один — с сухим, эгоистичным умом, другой — с нежным и страстным сердцем. Вот оно, читайте, Ромашов. Что сверху — это лишнее. — Назанский отогнул несколько строк сверху. — Вот отсюда. Читайте.

Что-то, казалось, постороннее ударило Ромашову в голову, и вся комната пошатнулась перед его глазами. Письмо было написано крупным, нервным, тонким почерком, который мог принадлежать только одной Александре Петровне — так он был своеобразен, неправилен и изящен. Ромашов, часто получавший от нее записки с приглашениями на обед и на партию винта, мог бы узнать этот почерк из тысяч различных писем.

«...и горько и тяжело произнести его, — читал он из-под руки Назанского. — Но вы сами сделали все, чтобы привести наше знакомство к такому печальному концу. Больше всего в жизни я стыжусь лжи, всегда идущей от трусости и от слабости, и потому не стану вам лгать. Я любила вас и до сих пор еще люблю, и знаю, что мне не скоро и нелегко будет уйти от этого чувства. Но в конце концов я все-таки одержу над ним победу. Что было бы, если бы я поступила иначе? Во мне, правда, хватило бы сил и самоотверженности быть вожатым, нянькой, сестрой милосердия при безвольном, опустившемся, нравственно разлагающемся человеке, но я ненавижу чувства жалости и постоянно унижительного всепрощения и не хочу, чтобы *вы* их во мне возбуждали. Я не хочу, чтобы *вы* питались милостыней сострадания и собачьей преданности. А другим *вы* быть не можете, несмотря на ваш ум и прекрасную душу. Скажите честно, искренно, ведь не можете? Ах, дорогой Василий Нильч, если бы вы могли! Если бы! К вам стремится все мое сердце, все мои желания, я люблю вас. Но вы сами не захотели меня. Ведь для любимого человека можно перевернуть весь мир, а я вас просила так о немногом. Вы не можете?»

Прощайте. Мысленно целую вас в лоб... как покойника, потому что вы умерли для меня. Советую это письмо уничтожить. Не потому, чтобы я чего-нибудь боялась, но потому, что с временем оно будет для вас источником тоски и мучительных воспоминаний. Еще раз повторяю...»

— Дальше вам не интересно, — сказал Назанский, вынимая из рук Ромашова письмо. — Это было ее единственное письмо ко мне.

— Что же было потом? — с трудом спросил Ромашов.

— Потом? Потом мы не видались больше. Она... она уехала куда-то и, кажется, вышла замуж за... одного инженера. Это второстепенное.

— И вы никогда не бываете у Александры Петровны?

Эти слова Ромашов сказал совсем шепотом, но оба офицера вздрогнули от них и долго не могли отвести глаз друг от друга. В эти несколько секунд между ними точно раздвинулись все преграды человеческой хитрости, притворства и непроницаемости, и они свободно читали в душах друг у друга. Они сразу поняли сотню вещей, которые до сих пор таили про себя, и весь их сегодняшний разговор принял вдруг какой-то особый, глубокий, точно трагический смысл.

— Как? И вы — тоже? — тихо, с выражением безумного страха в глазах, произнес наконец Назанский.

Но он тотчас же опомнился и с натянутым смехом воскликнул:

— Фу, какое недоразумение! Мы с вами совсем удалились от темы. Письмо, которое я вам показал, писано сто лет тому назад, и эта женщина живет теперь где-то далеко, кажется, в Закавказье... Итак, на чем же мы остановились?

— Мне пора домой, Василий Нилыч. Поздно, — сказал Ромашов, вставая.

Назанский не стал его удерживать. Простились они не холодно и не сухо, но точно стыдясь друг друга. Ромашов теперь еще более был уверен, что письмо писано Шурочкой. Идя домой, он все время думал об этом письме и сам не мог понять, какие чувства оно в нем возбуждало. Тут была и ревнивая зависть к Назанскому — ревность к прошлому, и какое-то торжествующее злое сожаление к Николаеву, но в то же время была и какая-то новая надежда — неопределенная, туманная, но сладкая и манящая. Точно это письмо и ему давало в руки какую-то таинственную, незримую нить, идущую в будущее.

Ветер утих.

Ночь была полна глубокой тишиной, и темнота ее казалась бархатной и теплой. Но тайная творческая жизнь чувствовалась в бессонном воздухе, в спокойствии невидимых деревьев, в запахе земли. Ромашов шел, не видя дороги, и ему все представлялось, что вот-вот кто-то могучий, властный и ла-

сковый дохнет ему в лицо жарким дыханием. И была у него в душе ревнивая грусть по его прежним, детским, таким ярким и невозвратимым вёснам, тихая беззлобная зависть к своему чистому, нежному прошлому...

Придя к себе, он застал вторую записку от Раисы Александровны Петерсон. Она нелепым и выпенненным слогом писала о коварном обмане, о том, что она все понимает, и о всех ужасах мести, на которые способно разбитое женское сердце.

«Я знаю, что мне теперь делать! — говорилось в письме. — Если только я не умру на чахотку от вашего подлого поведения, то, поверьте, я жестоко отплачу вам. Может быть, вы думаете, что никто не знает, где вы бываете каждый вечер? Слепец! И у стен есть уши. Мне известен каждый ваш шаг. Но, все равно, с вашей наружностью и красноречием вы там ничего не добьетесь, кроме того, что N вас вышвырнет за дверь, как щенка. А со мною советую вам быть осторожнее. Я не из тех женщин, которые прощают нанесенные обиды.

Владеть кинжалом я умею,
Я близ Кавказа рождена!!!

Прежде ваша, теперь ничья *Раиса*.

P. S. Непременно будьте в ту субботу в собрании. Нам надо объясниться. Я для вас оставлю 3-ю кадрили, но уж теперь *не по значению*.

P. П.»

Глупостью, пошлостью, провинциальным болотом и злой сплетней повеяло на Ромашова от этого безграмотного и бестолкового письма. И сам себе он показался с ног до головы запачканным тяжелой, несмываемой грязью, которую на него наложила эта связь с нелюбимой женщиной — связь, тянувшаяся почти полгода. Он лег в постель, удрученный, точно раздавленный всем нынешним днем, и, уже засыпая, подумал про себя словами, которые он слышал вечером от Назанского:

«Его мысли были серы, как солдатское сукно».

Он заснул скоро, тяжелым сном. И, как это всегда с ним бывало в последнее время после крупных огорчений, он увидел себя во сне мальчиком. Не было грязи, тоски, однообра-

зия жизни, в теле чувствовалась бодрость, душа была светла и чиста и играла бессознательной радостью. И весь мир был светел и чист, а посреди его — милые, знакомые улицы Москвы блистали тем прекрасным сиянием, какое можно видеть только во сне. Но где-то на краю этого ликующего мира, далеко на горизонте, оставалось темное, зловещее пятно: там притаился серенький, унылый городишко с тяжелой и скучной службой, с ротными школами, с пьянством в собрании, с тяжестью и противной любовной связью, с тоской и одиночеством. Вся жизнь звенела и сияла радостью, но темное враждебное пятно тайно, как черный призрак, подстерегало Ромашова и ждало своей очереди. И один маленький Ромашов — чистый, беззаботный, невинный — страстно плакал о своем старшем двойнике, уходящем, точно расплывающемся в этой злобной тьме.

Среди ночи он проснулся и заметил, что его подушка влажна от слез. Он не мог сразу удержать их, и они еще долго сбегали по его щекам теплыми, мокрыми, быстрыми струйками.

VI

За исключением немногих честолюбцев и карьеристов, все офицеры несли службу как принудительную, неприятную, опротивевшую барщину, томясь ею и не любя ее. Младшие офицеры, совсем по-школьнически, опаздывали на занятия и потихоньку убегали с них, если знали, что им за это не достанется. Ротные командиры, большею частью люди многосемейные, погруженные в домашние дразги и в романы своих жен, придавленные жестокой бедностью и жизнью сверх средств, крихтели под бременем непомерных расходов и векселей. Они строили заплату на заплате, хватая деньги в одном месте, чтобы заткнуть долг в другом; многие из них решались — и чаще всего по настоянию своих жен — заимствовать деньги из ротных сумм или из платы, приходившейся солдатам за вольные работы; иные по месяцам и даже годам задерживали денежные солдатские письма, которые они, по правилам, должны были распечатывать. Некоторые только и жили, что винтом, штоссом и ландскнехтом: кое-кто играл нечисто, — об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. При этом все сильно пьянствовали